

МОСТ

Путешествие

Всю свою недолгую жизнь я прожил в маленьком городке без названия. Когда-то здесь добывали руду. Сегодня рудника больше нет, а город остался и постепенно умирает. Здесь трудно найти работу – и люди, имеющие возможность уехать, уезжают не задумываясь. Печать запустения и прогрессирующего распада лежит на каждом метре немногочисленных улиц. Ржавчина, гниение, неухоженность давно уже перестали пугать и превратились в привычку, тем более что сравнивать не с чем. Городок нелепо далёк от всего того, что принято называть очагами культуры, окружён лесами, холмами и словно бы создан для забвения.

Трудно в это поверить, но я никогда не был даже в соседнем городе, куда можно попасть на приходящем каждое утро автобусе. Я одинок, а должность, которую я занимаю, — постыдна в своих нищенских доходах, не позволяющих купить билет без боязни голода. Я не пью, не курю, не ем мяса, следовательно, лишён возможности экономить. У меня слабое здоровье, а в поездке так легко заразиться. Поэтому было бы неосторожностью тратить деньги на риск заболеть, не имея возможности лечиться.

По тем же причинам я не завожу семьи – семья слишком дорого стоит. От родителей мне достался большой дом, который давно требует ремонта, но никогда его не увидит, и хорошая библиотека, от какой уже почти ничего не осталось, так как я знаю место, где охотно, хотя и за гроши, покупают книги.

Места у нас живописные. Ещё сохранился некоторый дух первозданности, как говорят, ставший столь редким в нашем мире. Леса и маленькие бурные речушки с водой, пенящейся вокруг острых камней, хорошо мне знакомы – я всегда гуляю, в тот единственный на неделе день, свободный от работы. Даже зима, весьма суровая в наших краях, не останавливает меня в моём увлечении. Но с недавних пор я начал замечать, что всё чаще и чаще ноги ведут меня по одному и тому же маршруту – дороге, хранящей на себе отпечатки колеи утреннего автобуса. Однажды идя по ней, я обнаружил у обочины вкопанный в землю деревянный столбик с привинченной жестяной табличкой, которую украшала надпись «Граница города».

Какое-то странное чувство овладевает мной, когда я гляжу на эти чёрные буквы. Быть может, вы посмеётесь надо мной, но я вдруг начинаю ощущать в себе какую-то силу – силу выбора. Ведь от моей секундной прихоти зависит: перейти границу или остаться по эту сторону. Иногда я заночую ногу, но в последний момент оставляю её на месте, и какая-то детская радость рождается во мне. Иногда я подолгу стою у границы, смакуя ожидание, иногда горделиво и быстро, не замедляя шаги, перехожу её и углубляюсь в чужой незнакомый мир. Я хожу по чужому лесу, смотрю на чужие реки, и мне кажется, что даже воздух здесь многого свойства – более насыщенный, более невесомый и прозрачный. Эти прогулки возвращают меня к жизни. Я забываю о своём слабом здоровье и о тех мелких неприятностях, которые преследовали меня в течение шести дней.

Я чувствую себя совершившим путешествие и возвратившимся в родные края. Мне становится дорог жалкий городок, доживающий свой век среди холмов. Я возвращаюсь домой и думаю только о том, как пройдут эти дни, до следующего моего путешествия.

Как передать это чувство власти над границей? Как объяснить ощущение решающего шага, за долю секунды переносящего меня в другой мир? Не знаю, да и не пытаюсь узнать. Мне достаточно и того, что есть тот столбик и что моя недолгая жизнь, возможно, лучше, чем вы могли бы подумать, а мои скромные путешествия дают мне не меньше, чем далёкие страны, для некоторых из вас...

Мне кажется, я никогда ни о чём не жалел, до вчерашнего дня, когда совершил непростительную ошибку. Но куртка совсем обветшала, и не моя в том вина. В кармане огромная дыра. Ткань не порвалась, она растворилась от времени. Дыра была настолько велика, что, будь моя зарплата в десять раз больше, ничего бы не изменилось. Почему я лишь вчера заметил её? Почему не положил деньги в другой карман?

Я искал, но деньги не любят лежать на дороге, и усилия мои ни к чему не привели.

Вчера было хуже... Сегодня я более спокоен и взвешен.

Наконец-то мне придётся совершить настоящее путешествие. Голод не признаёт неподвижности. Жаль только, что я не увижу тот столбик. В последнее время он стал символом моей жизни, недолгой, но, в сущности, и не такой уж короткой.

Мне не хочется покидать эти места. Я привык к ним. Но привычка – это не самое главное, есть более важные вещи, и я чувствовал их, когда переходил границу.

Я слышу урчание за окном. Это утренний автобус едет за мной. Но я не стану в него садиться. Я знаю более верный способ выбраться из города.

В душе моей спокойствие. Дыхание размеренное и глубокое. Я вдыхаю родной воздух, словно для того, чтобы увезти с собой частичку всего того, что окружало меня всю мою недолгую жизнь.

Урчание стихло. Автобус прибыл. На часах половина шестого. Я стою на стуле. К моему первому настоящему путешествию всё готово.

15.01.2003

Захолустье

Никто не знал, откуда он появился в нашем городе, а это, само по себе, уже достойно удивления, так как слово «город» я употребил, лишь отдавая дань сложившейся непонятным образом традиции, причувшей нас к этому обозначению.

Штук двадцать неопрятных пятиэтажек да с полсотни частных домиков чуть поодаль составляли архитектурный ансамбль дыры, в которой я имел несчастье родиться.

Жизнь здесь очень скучна и незамысловата, поэтому любое, даже самое незначительное, событие становится порою на многие дни главной темой разговоров, звучащих под крышей единственной пивной, взявшей на себя функции светского салона.

Впрочем, сплетен здесь не наблюдается, так как малочисленные жители давно уже перемыли друг другу кости и превратились в подобие древней общины, дружно прозябающей на обочине бытия.

В свете всего сказанного выше становится понятным интерес, вызванный появлением среди нас нового человека, появлением, к тому же, внезапным и странным.

Начну с того, что около года назад умерла моя соседка: старая болезненная женщина, почти ослепшая на последних месяцах жизни.

После похорон в городе появился её сын, которого я увидел впервые, хотя жил рядом с его матерью почти десять лет. Он, несмотря на солидный возраст, оказался человеком не только крепким физически, но и деловым расторопным.

Через какой-нибудь месяц квартира, не успевшая ещё официально перейти в наследство, оказалась выставленной на продажу.

Стоимость была мизерная даже по меркам нашего нелёгкого времени, а я, признаться, давно мечтал о расширении жизненного пространства, становящегося для моей семьи всё более тесным по мере взросления дочери. Но для человека, постоянно живущего в долг, кажущаяся незначительность суммы нисколько не облегчала задачи.

Кое-что продав, кое-где признав, я окончательно погрузил себя в долговую яму, но так и не собрал нужного капитала.

После семейного совета было решено отказаться от всего, что не создаст своим отсутствием угрозы для жизни, и таким варварским способом в какие-нибудь семь-восемь месяцев скопить недостающее. О том, что квартиру могут купить, я не задумывался, зная, что местных жителей она не интересует. Переезда же в наш «мегаполис» чужеземцев и вовсе смешно было предположить.

Теперь, пропуская все ужасы экономики, я продолжу с того раннего июльского утра, когда я проснулся от звука захлопнувшейся в подъезде двери. Сам по себе этот звук ничего страшного в себе не содержал, и я совсем было погрузился в прерванный сон, как вдруг хлопок повторился, и я понял, что кто-то вышел из квартиры, которую я уже открыто называл своей.

Не в силах отделаться от нехороших мыслей, я торопливо схватил сигареты и выбежал на балкон...

...Он был стар. Узорчатый свитер неуклюже висел на тщедушном теле, которое, казалось, и в лучшие годы не отличалось силой. Он был совершенно седым и к тому же прихрамывал, опираясь на зажатую в правой руке тросточку. В левой руке он держал поводок, привязанный к ошейнику большой беспородной собаки.

Уснуть я так и не смог. Я беспрестанно курил, пил крепкий чай, твердил про себя, что всё не так уж плохо, что рано делать выводы, однако делал их, бесцеремонно убивая последние ростки рассудительности.

За полчаса до открытия местного почтового отделения, занимавшего длинный одноэтажный барак с прогнувшейся крышей, я уже стоял у его дверей, ощущая приближение нервного приступа.

Междугородний звонок вытаскил сына моей бывшей соседки из кровати. Он был зол, груб и прямолинеен. Сказал, что квартира продана и что он не видит причин, почему ей не быть проданной, если нашёлся покупатель. Мне нечего было ему возразить. Апатия овладела мной. Я мог бы узнать, что за человек превратил в пыль те семь месяцев, в течение которых моя семья отказывалась от самого необходимого... Я мог бы... но мне это было без надобности...

К несчастью, мой двухмесячный отпуск едва успел начаться. Я был лишён возможности отвлечь себя работой, и стены моей маленькой квартиры давили и словно сближались с каждым новым хлопком соседской двери. Я стал много пить, сделался придиричивым, циничным. А какие слова произносил я в адрес нового соседа! Но что меня бесило больше всего – так это речи жены, просившей меня успокоиться, говорящей, что сосед – старый человек, не заслуживший подобного отношения. Я не мог этого слушать. Я кричал на жену, уходил из дома, напивался и казался себе мучеником.

Мои друзья, не раз слышавшие фразу «моя квартира», подшучивали надо мной. Я готов был убить их.

Так прошла неделя.

Каюсь: сперва я хотел подробно описать её, рассказать о страшных мучениях, о душевном надломе, о чём-то высоком, трагическом. Мне кажется, я хотел себя оправдать, но из этого ничего не вышло. Думая о той неделе, я понял, что, в сущности, не помню её. Водка, нецензурная брань, нелепые упреки, адресованные жене, – ничего высокого, низость и стыд, который пришёл слишком поздно.

Как-то вечером я встретил его. Он спускался по лестнице. Собака и тросточка дали мне возможность узнать его, хотя меня и шатало от выпитого. Помнится, он произвёл впечатление старого, совсем больного человека.

Я уловил мимолётный жест: он хотел со мной поздороваться. Но мой взгляд остановил его. Не знаю, что он прочёл в этом взгляде, возможно, пожелание смерти.

Я грубо толкнул его плечом, проходя мимо. Так мы познакомились.

Мне тогда казалось, что прежние спокойствие никогда уже не вернётся. Теперь мне это непонятно. Какие пустяки иногда отравляют существование! Неделя прошла, и ощущения утратили остроту. Моя семья была со мной, и я был перед ней виноват. Неделя злобной отчуждённости сменилась неделей заискивания. Я накупил подарки, говоря красивые слова, и на исходе недели получил прощение, после которого заискивание ушло след за злобой и начались будни, наполненные привычной скукой, включающей в себя, в разумных количествах, водку, красивые слова, злобу и любовь.

Единственным, чего я не смог в себе преодолеть, было чувство ненависти к соседу.

Неудивительно, что одновременно с тем пришло любопытство. Мы всегда хотим знать тех, кого ненавидим.

Однако звонить я больше не стал. Один из самых больших моих страхов – это страх показаться навязчивым. Кроме того, я был уверен, что и без звонка всё узнаю о нём. В таких местечках, как наше, у людей не бывает тайн. Рано или поздно, под влиянием гипнотической атмосферы захохотеть, мы начинаем испытывать потребность в общении. А общение не любит повторов и капля за каплей выпивает чашу вашей биографии, пока она не опустеет, а вы не превратитесь в скучного никому не интересного земляка.

Кому-нибудь может показаться неприятным этот болезненный интерес к чужой личной жизни. Пытаясь хоть как-то оправдать себя, скажу, что девяносто процентов нашего скромного населения ничем не отличались от меня в желании пролить свет на жизнеописание этого человека. Возможно, мы немного расходились лишь в степени желания, но, согласитесь, я, по крайней мере, нашёл для себя маленькую причину любопытства, тогда как остальными не руководило ничего, кроме надежды чуть-чуть развлечься, слушая человеческую исповедь, да скоротать время, заполняя пересудами и намёками белые пятна этой исповеди.

Впрочем, никто ничего так и не узнал, и фигура старика, столь незначительная вначале, постепенно обросла сплетнями и приобрела мифологические черты. Сплетни эти, надо признать, не имели под собой даже самого крохотного и шаткого основания и не стоили той бумаги, на которую я мог бы их поместить.

Старик вёл неприметнейшее существование. Утром, когда все ещё спали, он выводил на прогулку свою собаку и успевал возвратиться до того, как на улице появлялись первые пешеходы, спешащие на работу.

Днём старик и собака ходили в магазин за припасами. Вечером снова гуляли. Эту незатейливую картину я имел возможность наблюдать изо дня в день в течение месяца. Надо отдать ему должное: он был исключительно вежлив, всегда галантно раскланивался со старухами, греющимися у подъезда свои кости, справлялся о здоровье и умилённо улыбался, когда они рассказывали о шалостях внуков. У него как-то сразу установились доверительные отношения со всеми обитателями двора. Со всеми, кроме меня.

Пару раз он даже беседовал с моей женой, что оказалось для меня крайне неприятным, хотя это и были пустячные обмены любезностями: погода, особенности местного пейзажа и пр.

В общем, старик на большую часть людей производил достаточно хорошее впечатление своей любезностью и какой-то бросающейся в глаза готовностью помочь по мере сил в любом затруднении. Лишь один пункт в его поведении казался всем весьма странным – это злостное уклонение от каких бы то ни было откровений. Чуть только кто-нибудь задавал старику вопрос, пусть самый невиннейший, но касающийся его жизни до приезда сюда, как он, добродушно улыбаясь, искусно уводил разговор в сторону или делал вид, что не расслышал. Если же вопрос повторяли, он извинялся и, ссылаясь на спешку, уходил.

Кому-то не нравилась эта скрытность, кем-то она воспринималась спокойно. Но так или иначе, вопросы скоро стихли, и старик получил право родиться в нашем городе заново, ведя свою нехитрую биографию с того июльского утра, когда я проснулся, разбуженный хлопком двери.

В чём же суть рассказа, спросите вы? Кому могут быть интересны серые пятиэтажки захолустья, собаки, сплетни, рожденные скукой, мелочная ненависть автора?

Но не спешите...

...Мой отпуск подходил к концу. Близилась осень. Вот уже неделю стояла мерзкая дождливая погода. Дома, в кубышке, лежала с таким трудом собранная сумма, которую решено было не тратить. Я надеялся, что рано или поздно мне всё-таки что-нибудь подвернётся. То происшествие было совершенно забыто, но ненависть, однажды поселившаяся во мне, так никуда и не делась.

После той встречи в подъезде я ещё два раза сталкивался со своим врагом во дворе. Толком уже не понимая причин своего чувства, я смотрел на него огненным взглядом, стараясь вложить в него дополнительно презрение и насмешку. Старик больше не пытался здороваться со мной, он лишь смотрел в мои глаза, и лицо его принимало печальное выражение: печальное и как-будто немного виноватое. В те мгновения мне казалось, что он знает причину ненависти, и я испытывал тяжёлое наслаждение от подобной мысли.

В тот день я сидел одиноко за столиком пивной, флегматично листал скучнейшую газету и хмуро прислушивался к стуку дождевых капель. На всё лежал отпечаток серости и тоски. Даже пиво, стоявшее передо мной, казалось, приобрело какой-то невыразительный тоскливый вкус.

Я уже собирался уходить, когда открылась дверь, и в пивную вошёл старик. На его лице читалась растерянность. Сколько я помнил, он никогда раньше не удаивал этот зал своим посещением. Собака, с которой он никогда не расставался, должно быть, осталась у входа. Меня старик сперва не заметил, так как я спрятался за газетой, размышляя, каким ветром его сюда занесло.

Час был ранний. За исключением меня в пивной сидели только два человека: вдребезги пьяные сантехники, находящиеся, как и я, в заслуженном отпуске. Они, бодро жестикулируя, что-то обсуждали, не обращая внимания ни на меня, ни на вошедшего старика, который, потоптавшись нерешительно у прилавка, купил стаканчик портвейна и, к моему удивлению, уселся за мой столик, прямо напротив меня, хотя добрых пятнадцать столиков стояли свободными.

Я опустил газету, и наши взгляды встретились. Если бы он держал свой стакан в руке, то непременно уронил бы его. Я заметил, что первым его побуждением было встать и уйти куда-нибудь. Но он быстро совладал с собой и, грустно улыбувшись чему-то, отпил вина, причём рука его почти не дрожала. Так как я не собирался вступать в диалог с этим человеком, мне ничего не оставалось, кроме как уткнуться в газету и сделать вид, что старика не существует, в то же время мысленно проклиная неприятное соседство.

Вдруг он что-то сказал, и голос этот был очень странным. Я поднял голову.

– Простите...

– Он умер, – сказал старик, глядя не на меня, а на дождь за окном.

Ничего не поняв, я предпочёл промолчать.

– Он умер... Понимаете? – повторил старик.

– Кто умер? – спросил я, отложив газету и закуривая. Я старался, чтобы вопрос этот прозвучал с вежливым безразличием.

– Мой пёс, – ответил старик. – Ему было пятнадцать лет. Я называл его Другом... А теперь он умер...

Старик не плакал и не жаловался, он просто констатировал факты.

Много бы я сейчас дал, чтобы слово, произнесённое мною тогда, не было услышано.

– Бывает, – сказал я и усмехнулся.

Он как-то непонятно посмотрел на меня, точно видел впервые, и отпил ещё портвейна.

– Да... Бывает... – сказал он медленно, – собаки умирают... люди умирают... всё умирает... Но он слышком тяжёл для меня.

Я молчал. Ждал. Я видел, что в душе старика что-то происходит.

– Помогите мне его похоронить, – выдавил из себя старик, и я понял, чего ему это стоило – унизиться до просьбы к ненавидящему тебя.

То, что случилось потом, называйте сами. Я не могу и не хочу давать этому название. Должно быть, мне почудилось, что настал удачный момент для мысли.

– Нет. Не помогу, – раздельно, почти по слогам произнёс я и, бросив окурки в недопитое пиво, ушёл. В моем уме щебетало какое-то идиотское торжество.

Я вспоминаю тот день и те ощущения. Мне казалось тогда, что это был лучший день в моей жизни. Я стоял на балконе, злорадно глядя, как старик, шатаясь под тяжестью большого мешка, бредёт к пустырю, как он возвращается за лопатой. Я представлял, как он копает яму под хлынувшим с внезапной силой дождём, как трясутся немощные руки, опускающие в яму мешок...

Он вернулся лишь через четыре часа: жалкий, мокрый человек, похоронивший того, кого он называл Другом...

В ту ночь я спокойно спал, и в следующую, и таких спокойных ночей было семь. Я даже не видел, когда его увезли в больницу, меня не было дома. В тот же день он и умер. Пневмония. Я не обрадовался его смерти, не до такой степени я плох. Но, не скрою, мелькнула мысль, что квартира вновь свободна и, возможно, наконец, достанется мне, столько из-за неё выстрадавшему.

Отпуск кончился. Я работал. Ходил в пивную по выходным. О старике я забыл, но регулярно покупал газету с объявлениями.

Два дня назад ко мне по почте пришла бумага.

Старик завещал мне эту квартиру. У него не было ни единого родственника или друга. Всех их заменял старый пёс, про смерть которого я сказал: «Бывает».

Я не знаю, как обозначить то, что я чувствую. Я не могу судить себя: мне кажется, что я к себе слишком мягок. Он мог найти во мне умершего Друга, а нашёл убийцу.

Мои мысли путаются. Сбылась мечта... Квартира... Будь она проклята! Старик отомстил мне своим добром. Как он отомстил!

Я не могу умереть и в то же время не могу жить с этим. Вокруг захолустье, но захолустье отныне и в моей душе.

Мне осталось только одно: грязная пивная, в которой я постараюсь хоть ненадолго забыть обо всём.
16.01.2003 – 23.01.2003.

Когда-то давно

Это было очень давно. Мы жили на окраине, и коровы ходили прямо по улицам, оставляя после себя характерные следы. Я вёл тогда размеренную жизнь бездельника и нимало не беспокоился, так как родителям это нравилось. Как у всякого бездельника, у меня возникали порой разные мечты. Чаше всего я мечтал о вечной жизни, о красавице соседке и о походе на озеро. Всё это было очень важно, но труднореализуемо. Труднее всего было попасть на озеро, потому что на то существовал суровый и недвусмысленный запрет со стороны родителей. Общаться же с красавицей соседкой и вечно жить мне никто не запрещал, и озеро постепенно всецело завладело моими мыслями, тем более что оно находилось недалеко от дома, в котором мы жили. Когда коровы паслись на берегу, я из своей комнаты слышал их скорбное пение и завидовал их независимости. Мне же оставалось только глядеть в окошко на узкую полоску воды и кусочек обрывистого берега. Больше ничего увидеть было нельзя, потому что вокруг озера росли деревья. Озеро почему-то называлось Белым, хотя ничего белого я в нём не замечал. Будь моя воля, я назвал бы его Небесным, потому что оно всегда было цвета неба: ночью – лиловое, на закате – красное, а в дождливые дни становилось серым. Я долго размышлял о неправильности названия, понимая, что без оснований название никто давать не станет, и страшно мучился при мысли, что загадка скрыта за деревьями, словно с целью подразнить меня – опутанного лагутиной запретов бездельника. Я до того дошёл в своих переживаниях, что начал думать: озеро специально создано портить мне жизнь, и не будь его, наступила бы эпоха беспросветного счастья.

А потом я видел похороны. Поднимались с родителями по лестнице домой, и на нашей площадке стояла маленькая крышка гроба. Она была очень маленькая и очень красная. Я испугался маленькой крышки гроба, потому что подумал, что она для меня, но выяснилось, что она не для меня, а для красавицы соседки, которая утонула в Белом озере. Я ходил на неё смотреть. Все плакали, а она молчала, и я молчал, хотя хотелось задать ей несколько вопросов. На следующий день я ел блины и пил кисель, было вкусно и пасмурно, озеро было серым и настроение тоже. Если раньше мне запрещали только ходить на озеро, то теперь запретили даже думать о нём, и я мучился оттого, что нарушаю этот запрет, без особого ущерба для аппетита.

Когда блины кончились, жизнь потекла так же размеренно, как и всегда. Я продолжал думать об озере, смотреть в окошко на воду, похожую на небо, и бездельничать. Родители продолжали опутывать меня запретами и ни разу не сварили мне кисель, хотя мне этого очень хотелось.

Это было очень давно, и осознание собственной испорченности уже не доставляет тех страданий, хотя и сейчас неловко вспоминать, что запрет всё же таки был нарушен, – я сходил на озеро, когда родителей не было дома, а была старая бабушка, следящая с балкона за тем, как я хожу по двору. Но бабушка была очень старая и уснула, а я пошёл на озеро и увидел другой берег с белым, как снег, песком, там не было никаких обрывов, как тот, на краю которого я стоял, а вода в озере была голубая, потому что голубым было небо. И я засмотрелся на эту воду и упал в неё, потому что обрыв был скользким. Вблизи вода оказалась не такой голубой, как с обрыва, но, как ни странно, ещё больше походила на небо, потому что, как и у неба, у неё не было дна. И я тонул в этом небе. Небо затягивало меня. И я тонул целую вечность. Дома уже съели блины и выпили весь кисель, а я всё тонул, и красавица соседка тонула вместе со мной, и ещё многие бездельники вроде меня.

Немного обидно тонуть, когда тебе всего лишь пять лет, но, с другой стороны, все мои мечты исполнились, а когда все мечты исполняются, тонуть легко и совсем не страшно.

12.02.2004.

Трамвай

У меня была странная привычка просыпаться от стука первого утреннего трамвая и идти к окну – смотреть, как он едет, высекая искры из проводов.

Посмотрев на трамвай, я вспоминал, надо ли сегодня идти на работу, и в зависимости от этого ложился спать или шёл на кухню заваривать чай.

На этот раз был выходной, и, проснувшись от стука, я испытал неприятные ощущения, весть откуда возникшие. Мне казалось, что я видел этой ночью какой-то дурной сон, в котором вроде бы кто-то умер или собирался умереть, когда стук возвестил о приближении трамвая и оборвал сновидение, оставив в памяти лишь те самые «казалось» и «вроде бы».

Потом я обратил внимание на стук, и совсем плохо стало у меня на душе. Стук удалялся: скоро трамвай скроется за поворотом, и я не смогу уснуть из-за того, что не посмотрел на искрящиеся провода.

К тому же остановились часы. Секундная стрелка чуть заметнo подрагивала, став слишком тяжёлой для уставшей батарейки. И нельзя было сказать, первый ли это трамвай уходит от меня или, быть может, все они уже скрылись за поворотом, навсегда унеся с собой жёлтые искры.

А стук всё удалялся, и я пошёл вслед за ним на балкон, надеясь в утренней свежести вспомнить дурной сон.

Страшно и грустно стало мне на балконе от того, что я увидел. Под аккомпанемент удаляющегося стука к моему дому приближался казённый трамвай с потухшими огнями, и чем ближе он был, тем тише становилось вокруг: какие-то невидимые птицы разговаривали в сумерках, постепенно переходя на шёпот. Трамвай остановился под моим балконом, и двери его раскрылись, но никто не вышел из них, даже заспанный кондуктор не выглянул, чтобы пообщаться со мной.

Надо было идти, но какими утомительными и долгими показались вдруг бесчисленные ступеньки подъезда.

К чему они, когда можно сесть на балконные перила и, на зависть невидимым птицам, полететь к земле?! Как хорошо лететь, плавно рассекая утреннюю свежесть лета! Как хорошо... Как спокойно... Как сонно... И всё ближе земля, и от неё поднимается убаюкивающий аромат цветов... Глаза слипаются... И... слышится стук. Стук удаляющегося трамвая.

Я смотрел на белый потолок, и какое-то неприятное чувство сидело во мне. Словно бы видел я этой ночью дурной сон, но никак не мог вспомнить о чём. Стук удалялся. Скоро трамвай скроется за поворотом, но какой трамвай? Первый или последний? Утро теперь или вечер? Выходной или нет? Как понять всё это, если единственные часы остановились, и лишь секундная стрелка чуть заметнo подрагивает, словно время устало!

А стук всё удалялся, пока, наконец, не стих где-то за далёким поворотом, но мне уже не хотелось вставать и идти вслед за ним. Мне уже ничего не хотелось, кроме как лежать в тепле и смотреть на белый потолок. И вспоминать дурной сон тоже почему-то расхотелось. Дурной сон, в котором вроде бы кто-то умер.

16.02.2004 г.

Тоска

Улица быстро шла мне навстречу. Шла так быстро, что звуки и картины слипались в комок пестрящего шума. Мне не нравился этот комок, я хотел, чтобы улица шла ещё быстрее, и она послушно делала это. Потом улица кончилась, и заблестела вода. Я стоял на бетонной набережной. Закат ещё не начался, но солнце уже покраснело и остыло. Река шла мимо меня, глядя, как я думаю о своей тоске, и, возможно, принимая меня за скучающего чудака. Река не знала о телеграмме, которую я получил позавчера.

Мой близкий родственник из далёкого города был при смерти, и я хотел сегодня покупать билет, но не купил, потому что из второй телеграммы узнал о внезапном выздоровлении.

После этой телеграммы и напала на меня тоска, из-за которой пришлось идти на набережную. Моя тоска, видите ли, любит тишину и свежесть, а в пестрящем шуме улицы рвётся наружу, доставляя неудобство мне и окружающим.

Близкий родственник дорог мне, хоть и живёт в далёком городе. Живёт он очень небогато, и, следовательно, не ускользнувшее наследство было причиной моей тоски. Наоборот, мне надлежало радоваться закономленным на покупке билетов средствам.

Но я не радовался, я тосковал и ничего не мог с это сделать. Я не мог понять, зачем ему это выздоровление в его годы, с его бедностью и в придачу с его слепотой. Не мог я понять и радостного текста сегодняшней телеграммы, и радости моей жены, которая, услышав мой отказ, сама побежала на телеграф, чтобы отправить в далёкий город «нашу» безмерную радость.

Она удивлялась моей тоске, думала, что она от несварения желудка, и почему-то возмутилась, когда я ворчливо посоветовал отправить что-нибудь вроде «собрался помирать, так помирай и не морочь людям голову».

В общем-то, это меня не касалось: хочет жить, пусть себе живёт. Пусть ходит под себя, ест манную кашу вперемешку с таблетками. Пусть родня радуется и шлёт всему свету смеющиеся от счастья телеграммы. Мне-то что...

Моя тоска думала не об этом. Она глядела на реку, текущую в закат, и хмуро думала о чём-то чёрном и холодном, возможно, о земле или о глубине океана, где нет пестрящего шума и телеграфа. А река выходила из земли и уходила в океан, вырастая из крохотного ручейка в широкий спокойный поток –

величественный и красивый. И вдруг ходящий под себя, слепой, трясущийся от внезапного выздоровления человек... Где ты, величие широкого потока? Где ты, бездонный холод смерти? Река медленно краснела. Меня ждали дома, где не было тишины и свежести, которые так любит моя тоска. Я понимал, что она снова начнёт рваться наружу, но ничего не мог с этим поделать. И я шёл туда, где престрающий шум и телеграф, и улица шла вместе со мной, и рвалась наружу моя тоска, и я не выдержал этой тоски и побежал. Мне хотелось обогнать улицы. Быть может, за ней то величие широкого потока?! Быть может, за ней меня ждут по-настоящему?!

Я бежал, подгоняемый тоской, а жуткий престрающий шум бежал вслед за мною, пытаясь догнать.

Уже сдавало моё дыхание, а он всё гнался и гнался, как вдруг передо мной возник телеграф. Глаза его светились, и тоска моя вырвалась наружу и потащила меня, безмолвного и напуганного, прочь от этих светящихся глаз, попере́к пестрящего шума. И глаза эти видели, как пестрящий шум догнал меня, как он яростно взвизнул и ударил железным кулаком мне в живот.

Я не почувствовал боли, только облегчение от того, что можно наконец отдохнуть.

Я лежал на чём-то горячем, и глаза мои были закрыты, и какую-то долю секунды мне казалось, что вижу бездонный холод смерти, о котором грезила моя тоска. Но, подняв веки, я понял, что смерти не существует. Всё тот же престрающий шум склонился надо мною, всё тот же телеграф смотрел на меня светящимися глазами издалека. А на душе было покойно, потому что тоска вырвалась и убежала, оставив меня лежать попере́к остановившейся улицы. И какие-то странные мысли поползли в мозг, освободившись от тоски.

Завтра жена пойдёт на телеграф и отправит в далёкий город телеграмму. Только вместо внезапного выздоровления там будет внезапная смерть, а вместо радости – ужас. И телеграф примет это сообщение, хотя и не существует смерти. И в ответ посыпятся телеграммы, полные скорби, и я буду всё так же лежать попере́к пестрящего шума и думать о величии широкого потока, который прошёл мимо меня. Но я не буду печалиться из-за этого. Мне будет чем утешить тоску.

Ведь я – не широкий поток, превратившийся в сточную канаву.

Я всего лишь маленький ручеёк, высохший, не успев стать рекой...

23.02.2004 г.

Змеи

Когда они появились, стояло лето. Лето было дождливым, и я хорошо запомнил тот день, потому что он был безоблачным и люди осторожно поглядывали на солнце, точно боялись его сплунуть. Запомнил я и то, что солнце не нравилось мне. Оно светило слишком ярко, а я хотел сделаться незаметным, спрятаться в какую-нибудь тёмную норку из-за своего недавнего унижения. Утром начальник уведомил меня, что я попал в список и, доработав до конца месяца, теряю своё место в связи с сокращением штата, а надо мною, между тем, висел неоплаченный кредит, оформленный на чужое имя, и куча разных долгов.

Ситуация сложилась трудная и непривычная, и я мрачно подумал, что вскоре придётся объявить себя банкротом и застрелиться. Но я был молод, хотелось жить: просто жить, каким бы дождливым ни было лето.

И что-то случилось со мною... Что-то нехорошее и постыдное... Выбрав минуту, я прокрался в кабинет начальника, где плакал и умолял оставить меня, порываясь встать на колени и жалуюсь на судьбу, опутавшую долгами.

Своего я добился, и был вычеркнут из списка, но по дороге домой вдруг ощутил внутри себя пустоту, словно всё, что было во мне, осталось в том кабинете. Я вовсе не проклял себя за содеянное. Я просто тяготился собой. Я дышал, и от этого становилось противно. Комок лёгкой тошноты засел во мне, а так как внутри стало пусто, эти тошноты казались единственным наполнителем.

Дома я задрнул занавески, и в полутьме мне несколько полегало. Только какой-то озноб заставил надеть тёплый халат и вскипятить чай.

Я сидел на диване, поджав ноги, и вдыхал горячий пар, стараясь унять постукивающие зубы. Когда чай почти кончился, из-за платяного шкафа выползла небольшая шустрая змейка и уставилась на меня маленькими весёлыми глазками. Потом из-под дивана выползли ещё две змейки и ещё две — из кухни. Все они собрались в центре зала и, не отрываясь, смотрели на меня, показывая ловкие раздвоенные язычки. Змейки были покрыты золотистыми узорами и производили приятное впечатление, я как-то сразу почувствовал к ним симпатию, хотя всегда боялся змей, считая их злобными и опасными существами. Ничего странного в появлении змей я не заметил. В одних домах заводятся мыши, в других змеи: не всё ли равно?

Тем временем мои внезапные гости затеяли какую-то весёлую игру Они гонялись друг за дружкой, сплетались в озорной клубок, изображая поединки, выскакивали из засады – в общем вели себя как дети, выплёскивающие избыток жизни. Они были очень весёлые и совсем меня не боялись, а я вдруг ощутил, как пустота внутри меня заполняется, как тошнота и озноб уходят, и становится тепло и спокойно.

С наступлением темноты змеи распозлись по своим норкам, и я немного погрузнел, я боялся, что они больше не появятся, и перед тем как лечь спать, поставил у шкафа блюдце с молоком, надеясь привлечь своих новых знакомых.

Как оказалось, опасения мои были напрасны. Должно быть, змеи тоже почувствовали ко мне что-то вроде симпатии, и с тех пор я каждый день имел удовольствие наблюдать, как они резвятся на ковре. Постепенно мы подружились, и они уже не спешили в свои норки с наступлением темноты. Часто они заползали ко мне на диван, клали свои маленькие головки ко мне на грудь, и я гладил их и говорил всякие ласковые слова, удивляясь, как я мог когда-то считать, что змеи холодные и скользкие. Напротив, они оказались тёплыми и шелковистыми и совсем не ядовитыми. Они и шипели-то редко, да и то больше в шутку, чтобы подурочиться.

Об одном я жалел, что они не умеют говорить, но чего не дано, того не дано.

К концу лета мы окончательно сблизились, я уже не мог прожить без своих змей. Они даже стали сопровождать меня на работу, тихо сидя в большой матерчатой сумке. На работе я потихоньку расстёгивал замок и ставил сумку под стол. Под столом было темно, и змеи осторожно играли, не привлекая внимания сослуживцев, которые сначала спрашивали, что за сумку я став с собой носить, а потом привыкли, вполне удовлетворившись моим объяснением, что она для продуктов. Дела мои заметно улучшились, я стал работать очень старательно, и начальник даже повысил мне зарплату. Чудак, вероятно, думал, что мои старания – это знак благодарности за его снисходительность.

Впрочем, мне это было без разницы. Не рассказывать же, что это из-за змей, вдохнувших в меня жизнь. Честно сказать, с того солнечного дня, у меня не было ни минуты плохого настроения, я стал жизнерадостным и улыбочивым, на зависть окружающим.

Мои змеи стали для меня ближе самых близких родственников. Я дал им всем имена, и они охотно на них отзывались, я ставил каждый вечер блюдце свежего молока у шкафа, несмотря на то, что они никогда не отпили и глотка. Этим я давал им почувствовать, что их любят и заботятся о них.

В начале сентября я сделался совсем счастливым, потому как мне удалось расплатиться со всеми долгами и даже погасить тот жуткий кредит, оформленный на друга.

Надо сказать, друг очень тяготился своим положением фиктивного должника и даже перестал ко мне заходить, опасаясь, должно быть, какого-нибудь неосторожного слова.

И вот однажды я позвонил ему и сказал, что кредит погашен. И солнце дружбы вновь взошло над горизонтом отчужденности. Друг даже и не пытался скрывать свою радость. Он тотчас сообщил мне, что зайдёт ко мне вечером пропустить по стопочке и повспоминать старое доброе.

Был тихий тёплый вечер, мы сидели и выпивали, мирно беседуя. Мои змеи спрятались, приученные сторониться незнакомцев. А потом друг заметил блюдце, стоящее у шкафа, и с удивлением спросил, для кого оно, зная, что у меня дома нет кошки. Я немного смутился, а потом после подумал, что, в сущности, скрывать мне нечего, а может быть, даже есть чем гордиться. И я сказал другу, что это блюдце для лейб. Друг несколько искусственно рассмеялся моей шутке, а я хитро поглядел на него и позвал свою любимую Полосатку, названную так за красивые золотистые линии на шелковистой чешуе. Она тотчас выползла из-за шкафа и свернулась клубочком у моих ног. Я наклонился, осторожно поднял её и обернул вокруг своей шеи, ласково поглаживая маленькую головку, а затем я заметил, что друг сидит неподвижно со странным выражением на белом лице. Впрочем, многие люди пугаются при виде змей, и я, решив, что для начала достаточно, опустил Полосатку на ковёр, после чего она уползла обратно за шкаф.

После моего вопроса, как ему понравилась змея, друг почему-то тревожно огляделся, словно искал запасной выход, и невнятно пробормотал, что «змея ничего так себе», зачем-то попросил меня не волноваться. Разговор как-то сразу расклеился, друг вспомнил о какой-то встрече, назначенной на это время, и с излишней, как мне казалось, торопливостью ушёл. Я немного расстроился, но вскоре забыл об этом, играя со змеями. И они были особенно весёлыми и ласковыми в этот вечер.

То, что пропал запасной ключ от входного замка, я не заметил.

На следующий день подул резкий холодный ветер. Сухие листья летели с деревьев и шуршали под ногами.

В первый раз я не стал брать на работу большую сумку, опасаясь, что мои змеи простудятся. Я очень соскучился по ним, считал минуты, подгоняя неторопливое время.

Как я спешил домой, не замечая пронизывающего ветра! Скорее! К змеям! Как они там без меня? Наверно, лежат погружённые в тоску, мечтают о том, как я приду и назову их по именам.

Так и оказалось. Они лежали на ковре, грустно высунув свои маленькие раздвоенные язычки.

Я ворвался в зал и лёг на ковёр, выкрикивая их имена и смеясь, а змеи исполнили на моей груди радостный танец.

Я не слышал, как повернулись ключ и как в зал вошли большие белые люди. Я вырвался и кричал, когда они укладывали меня на носилки и стягивали моё тело ремнями. Мои змеи в страхе попрятались по своим тайным норкам, а я вопил и пытался кусаться. Вдруг что-то блеснуло и пронзило мне руку. Я вопил, но всё тише, пока темнота не накрыла меня душным одеялом.

Очнулся я в комнате с мягкими стенами и запертой дверью. Мягкая постель лежала в углу, и я лежал на этой постели, тело моё было свободно, а окон не было, из-за чего я не мог определить, день сейчас или ночь. В голове было тепло и мутно, а у постели дремали, свернувшись калачиками, мои змеи. И так спокойно и радостно стало у меня на душе, я называл их по именам, я целовал их маленькие головки, гладил тёплую шелковистую чешую. А по щекам моим катились слёзы, но вы облибаетесь, если думаете, что я плакал от горя.

Это были слёзы счастья. Любовь оказалась сильнее запертых дверей, сильнее белых людей и грубых ремней, стягивающих тело.

Я понял: что бы ни случилось, какой бы стороной ни повернулась ко мне жестокая жизнь, мои преданные змеи никогда меня не покинут. И никакие стены не смогут остановить тех, кто по-настоящему любит меня.

28.02.2004.

Уставший от снов

Моя жизнь была прекрасна. Воплощение мечтаний человечества. Моё небо всегда было безоблачным. Моё веселье – неисчерпаемым и утончённым. И не было минуты, чтобы бледность скуки разбавила своим молоком кофейный загар экзотических стран. Я даже не представлял, что означают такие слова, как голод, бедность, болезнь. Лучшие яства планеты были обычными для моего стола. Я никогда не считал своих денег, ибо не знал столь огромных чисел. А здоровье моё привело к тому, что, прожив, в сущности, не так уж мало, я не помнил ни одного случая лечения, кроме того, как однажды смазывал йодом порезанный палец.

Последнее, быть может, объяснялось моей нелюбовью к зиме, к холодным ветрам и осенним дождям, заунывно стучащим по мокрой земле. Я любил солнце, лето и тёплое море. Я любил дурманящие ароматы и яркие краски и всегда стремился туда, где мог найти всё это. И моей мечте никогда не удавалось убежать – я всегда догонял её. Стоило небу над моей головой слегка потемнеть, стоило лёгкому ветерку взъерошить мои волосы, как мой самолёт тотчас расправлял серебряные крылья и нёс меня туда, где солнце, лето и тёплое море. И не было на Земле пляжа, где моя нога не взрыхла горячий песок. И не было моря, не омывшего тёплыми волнами моего экзотического загара. И не было ресторана, на террасе которого я не сидел ароматной лунной ночью, сжимая в ладони бокал тонкого вина. И не было театра, в ложе которого я не появлялся, облачённый в элегантный смокинг. Не было ничего, что жизнь сокрыла бы от меня, считая, что именно этого я не заслужил.

Была лишь одна вещь, от которой мне хотелось избавиться. И это желание – избавиться от одной вещи – было единственной мечтой, которую я не мог осуществить ни за какие деньги.

То были мои странные сны, происхождение которых не поддавалось объяснению. Тем более что сны эти были, на удивление, одинаковы и унылы.

Чаще всего мне снилось, что я еду в каком-то пыльном автобусе, вокруг меня люди с серьёзными лицами, за окном мелькают чахлые деревья и поблёкшие от сырости дома, угрюмое солнце слепло просвечивает сквозь лохматую химическую дымку, и в воздухе стойкий запах болезни. Потом мне снились длинные ряды железных контейнеров, из которых я доставал грязное чёрное одеяние, облачившись в него, шёл куда-то, где вместе с серыми людьми монотонно трудился среди пыли и сырости, думая только о том, чтобы сон поскорее закончился. И не было ни пляжей у тёплого моря, ни террас дорогих ресторанов, где так хорошо сидеть в лунном свете с бокалом тонкого вина. Была холодная река, несущая ключья желтоватой пены, и камни, перемешанные с окурками и смятыми пивными банками. Часто унылые дожди стучали по мокрой земле, и я не мог убежать от них, потому что в моих снах не было самолёта с серебряными крыльями. Была только лопата, которой я ковирял чёрную землю вокруг покосившегося домишки, весь облепленный комарами и мошками. В своих снах я часто болел и, проснувшись, смутно припоминал о том, удивляясь, откуда всё это приходит в спящее сознание. Откуда этот образ крохотной квартиры и старого скрипучего дивана в сознании, привыкшем к роскоши отелей, бухарским коврам и красному дереву? Откуда этот вкус подгоревшего картофеля на языке, привыкшем смаковать лучшие яства планеты? Откуда эта бледность на коже, привыкшей к загару экзотических стран?

У меня не было ответа на эти вопросы, и с каждым днём, просыпаясь, я ощущал себя всё более уставшим. Моя мечта всё-таки обхитрила меня, отыскав узкое место. Но я не мог сдать так просто, и одна идея пришла мне на ум. Что если в одном из моих странных снов что-нибудь случится? Что если пыльный автобус перевернется и пламя охватит его? Что если холодная река раскроет свои воды и поглотит мою потустороннюю половину? Что если...? Ведь это всего только сон, а во сне люди не чувствуют боли. И я каждый день, прежде чем уснуть, стал давать себе установку, стал внушать, что сегодня должно, наконец, что-то случиться. И это продолжалось очень и очень долго. Однако ничего не случилось. Пыльный автобус всё так же катился в мутном свете слепой звезды. Всё так же ключья желтоватой пены плыли по холодной реке, и я постепенно догадался: что-нибудь случиться может, только если я сам, своей рукой занесу нож над судьбой.

И вот однажды мне привиделось, что я сижу на диване и держу в ладони блестящую бритву, задумчиво разглядывая запястье. Мне казалось, что целая вечность уткнула вслед за желтоватой пеной, пока я сидел и пытался занести руку над судьбой.

А потом я проснулся, и грустное понимание пришло в сознание уставшего от снов: моя потусторонняя половина безвольна. Она малодушно цепляется за то, что считает жизнью, и никакая сила не победит страха перед решающим жестом.

Быть может, моя грустная половина боялась, что, лишившись пыльного автобуса и железных контейнеров, в которых хранится чёрное одеяние, она лишится и своих мечтаний. Мечтаний о загаре экзотических стран, террасах, залитых нежным светом луны, театрах, в ложе которых так приятно сидеть, облачившись в элегантный смокинг.

И ещё мне подумалось о том, что с той же степенью, с какой я мечтаю забыть о чахлых деревьях и поблёкших от старости домах, моя печальная болезненная половина мечтает о той минуте, когда, проснувшись, увидит за окном самолёт с серебряными крыльями, который навсегда унесёт её туда, где солнце, лето и тёплое море.

05.03.2004

Ночь моей смерти

Вот уже месяц как я не могу ходить. Температура. Первые три недели как-то можно было с этим мириться. За окном что-то белое, кажется, зима... И метёт. Точно не помню. Неделию назад помнил, но сейчас... Голова болит... Зима, лето? Какая разница? Озноб одинаков. Колотит так, что зубы стучат. Смеркается... Белое темнеет. Скорей бы всё прекратилось. Врач обещал. Чёртов врач! Уже неделю обещает. Сколько можно? Впрочем, этой ночью обещал наверняка...

Ходят вокруг. Не терпят. Всегда бы лишим! Ходите, ходите, никуда не денетесь. Вот и градусник. Сколько там. Сорок один и два! Прогнал. Обжимаются. Дань памяти не дал отдать. Гадь! Чтоб вам так же лежать и под себя ходить. То ли вчера, то ли позавчера видел белое лицо за окном. Смотрело и вроде бы усмехалось. Орал дико. Сбежались, сволочи! Спать не дают. Врач обещал. Скоро выпитесь. Почему нельзя сразу? Как же больно... Где эти твари?

Таблетку! Таблетку дайте! Ненавижу... За окном воеет. Смех какой-то послышался, а может, плач... Какая разница? Вчера хлынула кровь из носа. Лёд прикладывали. Бесполезно. Лежал и глотал. Принесли таз. Рвало собственной кровью. Никогда не видел столько. Какая-то муха летает вокруг лампы. Откуда мухи зимою? Как же холодно... Воспаление мозга... Где ж твоё обещание?.. Быть может, это она была? В больницу хотели положить. Не откажетесь! Сплошная кость. Неужто моя рука? Во рту сухо и колотит? Сорок один и два. Почему так колотит? Ещё и не жил. Совсем не жил. Впрочем, жил не жил, эта мразь не спрашивает. Помню лето. Лежал, на воду глядел. Думал, через год так же лягу, и ещё через год. Лёг. За окном воеет. А я лёг. Глядел на воду. Во рту сухо. Рука не поднимается. Где эти сволочи? Всё-таки дотянулся! Я ещё не во всё зависим! Опять этот вкус железа. Только бы кровь не шла. И так не осталось. Где этот чёртов таз? Поздно... Прямо на пол. Ничего, подотрёте. А, вот и вы. Как смотрят... Опять это наваливается. Какие-то провалы. Однажды очнулся на полу. Сбежались с топотом. Наверное, думали – уже всё. Хотели ребёнка... Получилось два. Как смотрит этот, которого хотели. Наваливается, наваливается... Кто это в комнате? Как же больно. Темнота вокруг. Опять белое лицо висит в темноте... Пить... Пить дайте... Вкус железа... Моей же кровью хотите напоить... сволочи! Пошли отсюда! Плевал я на вас... И снова лицо... Не могу видеть. Одно лицо... В воздухе висит... И улыбка... Кто-то кричит. Да это я кричу... Откуда силы? Колотит от крика...

Что за ятню? Ночник на столе. Лекарства разные. Неужели ещё не всё? Лицо исчезло. Не могу рукой пошевелить, но теплее. Больше не колотит. За окном воздух совсем чёрный и что-то белеет. Пусто в комнате. Уснуть бы и чтоб совсем. Думают, не слышу, когда провалы. Место определили. Возле сестры... Как звали? Не помню ничего... Совсем маленькая была. Что там было?.. Осень была, но тепло... Ещё дерево росло и трава. И лицо всёёлое, помню на плите. Помню, в мяч играли... Смялась... А на платье кубики цветные. Интересно, как меня понесут? За окном воеет и земля твёрдая. Потом домой пойдут, а я не пойду. Будем рядом лежать под деревом. Вспоминать, как в мяч играли. А может, и не будет ничего, как за окном – воздух чёрный и что-то воеет... Хотели какого-то из церкви позвать... Прогнал... Ругался, кажется... Обиделись жутко. Сам всё узнаю... Есть так есть – нет так нет...

Песочницу помню. Давил лягушек... Маленький был. Утро было... Холодно... Чёрт! Опять колотить начинается. Лягушек много было... Наступлю, погляжу. Где этот таз idiotский? Тьфу! Желчь одна... неделю не ел... Лягушки! Зачем я их давил?! Теперь меня кто-то давит. Врач обещал... Идиот какой-то: обещает, а сам в глаза не смотрит. Врёт, наверное, ещё неделю валяться. Его бы, как лягушку. Хотя жалко лягушек. Скакали себе... Песок был мокрый... Тополя качались вокруг. Какие-то отморозки приходят и давить начинают. Какой смысл? Впрочем, нигде его нет. Вот лежу, и колотить опять начинает. Где смысл? Ещё бы утро, хоть одно... На восход поглядеть, как звёзды гаснут. Чтобы воздух свежий... Ночник бы потушить... Неба не видно. Ничего, сам скоро бу-ДУ-

Фотографию повесят в комнате... Чёрт! Фотография! Какая-то фотография в куртке лежит... Чья фотография? Куда память делась? Девушка... Точно, девушка! Что за девушка? Как выглядит, не помню... Вроде бы лицо белое... Тьфу! Опять это наваждение.

Что за девушка? Ох! Опять эти подонки притащились! Любуются... Что, ямку уже выкопали? А веночки купили? Неужто вслух спросил? Плачет кто-то... В глазах, словно дым какой-то... Кто там плачет? О-о-о! Снова это лицо! Не одно уже. Плечи появились... И опять воет и наваливается, наваливается... Мошкара, какая-то вокруг. Какая ледяная... Наваливается... воет как жутко... Проваливаюсь... Чувствую – всё! Скорей бы... Какая боль... Всё взрывается... Вихри мошкеры и лицо белое... По пояс уже. Зачем я лягушек давил? Кричать, кричать! Только скорее! Кубики цветные. Под деревом... Скорее! Ну, есть же кто-то где-то. Есть ли?

Было ещё темно, когда я очнулся. Какое-то непривычное тепло ощущало уставшее от озноба тело. Слабость была, но какая-то покойная. Смог повернуть голову. Они были здесь. Мать, отец, брат. Стояли, прижавшись друг к другу. Плакали и смеялись. Смеялись и снова плакали. В уголке сидел врач. Вид у него был растерянный и немного смущённый: обещание не выполнил. Я попросил выключить ночник и уйти. Ласковым попросил, сказав, что устал. Они ушли, но я не хотел спать, хотя действительно устал. Я смотрел за окно. Там больше не выло. Там в медленно белеющей тишине гасли звёзды. Это был рассвет. Это был лучший рассвет. Мой рассвет. И думалось мне, быть может, и впрямь где-то кто-то есть. Кто-то, могущий подарить человеку ещё один рассвет. Пусть даже человек это всех проклинал и всех ненавидел.

И ещё я думал о фотографии, лежащей в куртке. На ней и впрямь была девушка, правда, совсем ещё маленькая. Она улыбалась мне, прижимая мяч к платью с цветными кубиками.

30.09.2004 – 03.10.2004.

Тяжесть земли

То утро обещало, что день предстоит не из лучших. Между серым небом и серой землёй, бесконечными косыми линиями падали колючие капли. Последние отблески ночной грозы плескались над горизонтом. Казалось, кто-то вставил вместо оконных стёкол экранное полотно и прокручивает сменяющиеся с монотонной периодичностью кадры. Однако капли перестали капать, отблески погасли, и наступил день тёплого и влажного безветрия. Небо и земля оставались ровного серого цвета, как я и любил, и от этого сделалось тоскливо. Тяжело покидать мир, когда стоит любимая погода, впрочем, его всегда тяжело покидать. Но иного выхода я не замечал.

В детстве, как и все живущие на полном довольствии, я мечтал о будущих великих свершениях и видел себя благодетелем людей, воспетым в биографиях и энциклопедиях. Потом детство кончилось, а благодетель понял, что свершений на его долю не хватало, как и бумаги, на которой воспели бы его жалкую жизнь. Наверное, из-за этого я и полюбил такую погоду, ведь, она, как жизнь моя, была тёплой, безветренной и серой.

Мечты... Как хотелось избавиться от них, но ничего не вышло. Быть может, в этом я чуть-чуть отличался от соседей по подъезду, однако для энциклопедии подобного достижения не хватало.

Постепенно у меня в голове сложилось некое подобие философии, приведшее меня к выводу простому и очевидному: если ты пожаловал в гости в большой многолюдный дом и, не сумев никого очаровать, осознал, что никто тебя не замечает и никому ты не нужен, значит пора уходить, а не пытаться привлечь к себе снисходительное внимание хозяев, заглядывая им в рот.

Ни в какой мир после мира я не верил и скептически кривил губы, слушая разные глупости об ужасах ада, поджидающего добровольцев.

Впрочем, своими размышлениями я делиться не собирался.

Приблизительно неделю до того серого дня я придумывал способ, позволяющий уйти побыстрее и надёжнее. Хотел было забраться на крышу, соблазнившись быстротой и надёжностью, но детская боязнь высоты подсказала мне, что самая высшая точка, на какую я, хоть и не без труда, но смогу подняться, это обычный табурет.

Вот на таком обычном табурете я и стоял в тот момент, когда внезапно сделалось тоскливо от того, что за окном любимая погода. Помнится, даже всплакнулось немного, накатили воспоминания детства, и вся философия вдруг забылась, как забылось и то, что подо мною крохотный деревянный квадрат. Казалось, я просто стою и смотрю на милую сердцу серость.

А потом мне захотелось выйти на улицу, побродить, подышать тёплым влажным воздухом. Я сделал уже было шаг к шкафу, в котором висела одежда, как вдруг что-то будто клещами сдавило моё горло. Этого мне не забыть. Я бился и вырывался из цепких пальцев, не пускающих меня на улицу. Внутри меня что-то клокотало и лопалось, а в глазах темнота перемежалась с новогодним фейерверком. Наконец осознав, что с клещами не совладать, я прекратил сопротивление и затаил дыхание. От этого сделалось несколько легче, и хотя режущая боль в горле не проходила, зрение потихоньку вернулось, а грубые пальцы разжались. Потом оказалось, что дышать вовсе не обязательно, и это меня обрадовало.

Что-то странное происходило с комнатой, она словно бы раскачивалась перед глазами, но всё медленнее и медленнее, а под ногами не чувствовалось привычной опоры. Ничего не понимая, я попытался повернуться к окну, но тело не двигалось. Жирная муха прожужжала и уселась мне на лицо, прошлася беспешно по щеке, потом переползла на глаз и принялась что-то там вынюхивать. Это было отвратительно – я не мог даже моргнуть, чтобы согнать её.

И вдруг всё стало очень понятным: и неподвижность, и режущая боль, и странное замедляющееся покачивание комнаты.

Об этом тяжело вспоминать, но что я имею, кроме воспоминаний?

День сменился ночью, ночь – днём, потом это повторилось снова. Комната давно уже не раскачивалась. Я начал чувствовать какой-то неприятный запах, который почему-то очень нравился жирной мухе.

На четвёртый день сильный шум отвлек меня от невесёлых раздумий. Несколько человек, всё больше при исполнении, вошли в комнату и уставились на меня круглыми глазами, а я не мог с ними даже поздороваться. Двое из них подошли поближе и нежно освободили от мучавшей меня с того дня режущей горло боли. Потом уложили на пол и, опустив тельными, пахущими табакком пальцами, веки, накрыли простышкой и оставили одного. Я лежал в темноте и прислушивался к голосам, раздававшимся из соседней комнаты. Слышно было плохо. Кажется, кого-то о чём-то расспрашивали, вроде бы упомянули обо мне.

Мне не нравилась темнота, к тому же пол был холодным и жёстким; и вообще, всё это уже порядком надоело.

Наконец, наговорившись вдоволь, они вернулись и, уложив меня на носилки, понесли вниз по лестнице.

Скрипнула подъездная дверь, и тёплая свежесть окутала меня. Я услышал множество возбуждённых голосов, но не успел толком разобрать причины их возбуждения, так как носилки поставили и хлопнули металлической дверью. Тот самый неприятный запах был здесь куда сильнее, чем в моей комнате, зато не было мухи: хоть от неё я избавился. Потом заработал мотор, и я ощутил, как носилки трясутся и подсакаивают на ухабах. Когда тряска прекратилась, меня опять понесли. Потом снова хлопали двери, меня везли куда-то на холодной каталке, слышались чьи-то голоса и неприятный смех. Когда движение прекратилось, простынку сдёрнули и даже сквозь веки меня ослепили мощные осветительные приборы. Какие-то грубые руки принялись стаскивать с меня одежду, потом схватили и положили на каменный стол, до такой степени ледяной, что хотелось вскочить и убежать в тёплую свежесть летнего дня. Послышался металлический пязг, словно возле меня перебирали инструменты, и то, что случилось дальше, я и теперь чувствую, как в тот день. Это была боль. Боль, обжегшая всё тело до последней молекулы. Меня кромсали, резали, выворачивали наизнанку, впивались щипцами в каждый жизненно важный орган. И всё это сопровождалось гнусными шуточками и прибаутками и идиотскими смешками. Инквизиторы – монахи, в сравнении с теми, кто получил власть надо мною.

Кончилось тем, что меня, окутанного болью и ужасом, запахали в какую-то длинную ячейку и оставили размышлять о странностях последних нескольких дней.

Я был бы рад остаться в этой ячейке, по крайней мере, здесь было холодно, что немного притупляло боль истязаний, но и этого мне не дали. Меня вновь извлекли на свет, вновь куда-то катили, потом обмывали тёплой водой и одевали во всё чистое. Кто-то, кажется, плакал, но слух почему-то начал меня изменять. Когда меня вынесли на улицу и повезли, я смутно догадывался, что скоро увижу родную квартиру. Лежать было удобно, под головой я чувствовал подушку, а тело было укутано одеялом. Об одном я жалел, что деревянная крышка не дает почувствовать милую сердцу тёплую свежесть, но не всё теперь зависело от моих желаний.

В квартире крышку почему-то не открыли. Снова мне казалось, что кто-то плачет, но я не был в этом уверен. Я думал в тот момент только об одном, что скоро мне хоть ненадолго дадут возможность прогуляться на свежем воздухе, потому как я знал, что так иногда поступают. Но когда меня вынесли во двор, я понял, что этого не будет. По деревянной крышке неистово стучал ливень. Безо всяких музыкальных сопровождений меня впахнули в какой-то фургончик, должно быть, очень маленький и тесный, и повезли. Кончился всё тем, что, так и не откинув, крышку заколотили, и я понял подосознанием, что прогулка окончена – по крышке стучала земля.

Потом всё стихло.

С того мгновения, как всё стихло, прошло, должно быть, уже немало лет.

Сперва меня преследовал, всё усиливаясь, отвратительный запах, подушка под головой исчезла, лежать стало неудобно и сыро. Кто-то склизкий ползал и копошился во мне, потом это прошло, а ещё немного погодя я понял, что крышка надо мной растворяется, и отчётливый запах земли доносится сверху. Она давила на меня, она проникала в меня, пока не стала единым целым со мною. Я понимал, что на огромном кладбище тысячи ям, и тысячи соседей должны сейчас испытывать то же самое, но почему-то чувствовал себя страшно одиноким, словно соседи мои были не здесь, а где-то неизмеримо дальше, и лишь я был вынужден нести на себе это проклятие, эту непосильную тяжесть – тяжесть земли.

Душно

Семьдесят, может, больше. Нет, точно не меньше. Больше, вероятно. Стёкла, этажи, дверь из стали. Очень душно, небо заплатанное, изношенное, впрочем, неплохо. Обещали дождь, а его нет, только ветер. В городе не бывает тёмных ночей. Проспект струится. Всё равно куда идти: давно исхожены дороги, только не стоять. Движение – иллюзия смысла. Киоски, будто кочки посреди болота. Возле каждого щёлкает пробка, ещё раз и ещё. Давишься, но пьёшь, иначе нельзя, пальцам необходимо чувствовать холодное стекло. Улицы почти пусты, начинаешь вполголоса говорить с кем-то идущим рядом.

Что успел, что не успел? Деревья без листьев, пучки травы и ветер холодный и душный со множеством запахов. И снова киоски и пробки, чтобы заглушить запахи, чтобы...

...Пасха, крохотный мальчик со столь знакомым мне взглядом шагает рядом с бабушкой. Тепло. О чём он думает, неизвестно. Вдоль обочины лиственницы с кислыми мягкими иголками. Всё впереди. Здравствуй, тётя, я узнал вас (крохотный мальчик улыбается): вы – бабушкина соседка. Она что-то говорит. Мальчик не понимает, но с восторгом зажимает в кулачке яйцо с алой скорлупой: он никогда раньше не видел таких.

Тепло. Воскресенье. Все отдыхают и говорят друг другу что-то непонятное. А мальчику всё понятно, и он счастлив. Эти запахи. Река, где мальчик споткнулся, и алое яйцо покатило вниз по бетонной дамбе. Небо было в тот вечер чистое, и бабушка показывала мальчику Большую Ведведицу, но он всё равно плакал, не зная о том, что через многие годы будет рад заплакать. Но не сможет.

Сигарета за сигаретой растворяются в духоте весны. Бедный, счастливый мальчик. Он не знал, что стены бьются не только в квартире, он, плачущий каждый день, умел быть веселым, и небо не казалось ему изношенным.

Он бегал во дворе. Кто-то позвал. Почему-то все запахи в алом цвете. Сначала было яйцо. Теперь мальчик стоял неподвижно и смотрел на алый ящик, в котором спал очень бледный дедушка. Была музыка, ящик унесли, и мальчику сказали, что этот дедушка умер. Весь вечер мальчик плакал: он не хотел умирать и просил вечной жизни для себя и своих родителей. Быть может, идущий рядом, с которым я тихо беседую, и есть тот маленький мальчик, который рыдал при мысли об алом ящике. Я веду его от киоска к киоску, проспект струится, и душно, страшно душно от того, что мальчик не понимает меня, что я не могу объяснить ему простого, не могу объяснить ему, что разные вещи бьются выкрашены в один цвет.

Ещё одна сигарета, поворот, подземные переходы, никому не нужные в этот час. Где-то горят костры. Должно быть, жгут прошлогоднюю траву.

Я тоже жгу траву, и самое страшное несёт этот запах...

...Металлофон на расписном столике. Улыбающаяся женщина выстукивает незатейливую мелодию, а вокруг неё сидят, прижавшись друг к другу, крохотные мальчики и девочки, и тот мальчик тоже сидит среди них и тоже поёт:

– Солнышко во дворе, а в саду тропинка.

Сладкая ты моя, ягодка малинка.

Щёлкают пробки. Заплатанное небо, на котором даже звёздам не нашлось места. Бедный маленький мальчик. Ты думал, что во дворе будет солнышко, освещающее тропинку, змеящуюся среди кустов с алыми сладкими ягодами. Ты думал... Я иду и беседую с тобою. Я держу твою крохотную ладошку в своей ладони. Плачь, плачь, родной, плачь, пока ещё не разучился это делать. Плачь и постарайся простить меня за то, куда я привёл тебя, поющего о солнышке.

...Стальная дверь, стекла, этажи, семьдесят, может, больше ступеней...

28.04.2005

Мост

Река была не слишком широкая, но мост почему-то казался очень длинным. Впрочем, быть может, он казался таким лишь отсюда, где кончался пятнистый свет оставленных позади городских фонарей и начиналась обитель заката, холодеющего где-то за полями и холмами другого берега.

Я не раз ходил по этому мосту. Ходил один. Ходил с семьей. Ходил с друзьями. Нас, закованных в геометрическую броню города, тянуло туда. Туда, где всё бесформенно и хаотично, где контуры видимого сливаются с контурами сознания, образуя мнимую гармонию.

Однако в этот миг я стоял, и странные мысли стояли со мной рядом: это не тот мост, совсем не тот, и город, оставшийся позади, – не тот город, и холмы, темнеющие за рекою, – не те холмы.

Быть может, всё оттого, что раньше я всегда видел мост при свете дня? Быть может, я сплю, и сновидение искажило привычные очертания?

Но нет, я точно помнил, что вышел из дому, солнце было ещё высоко, я гулял, долго бесцельно

бродил по улицам, а потом случайно вышел к мосту и удивился тому, как быстро спустился вечер. И

помню ещё одну странность: подойдя к мосту, я обернулся, и город вдруг оказался мне жутко далёким, хотя и был всего в пятистах шагах.

Но размышляя я недолго. Ведь, в самом деле, я никогда не стоял у моста в это время, и в самом деле долго ходил в этот день. Подумав о том, я стал спокоен; странности для того и существуют, чтобы иметь простые объяснения.

Я хотел было уже повернуться назад, ведь час стоял поздний, а автобусы не любят ждать, но внезапно понял, что именно в это время, именно один, без семьи, без друзей, я пойду на мост и пройду по нему, чтобы постоять на том берегу и наедине с собою ощутить ту самую мнимую гармонию, какой при всей её мнимости не ощутить там, где я бесцельно бродил весь день.

Мост встретил меня тихими, чуть слышными шагами. Время от времени я останавливался, и шаги затихали. На мосту мне стало немного жутко от его гордого величия в этот поздний час. Днём здесь были грязные перила с облупившейся краской. Теперь вместо них предстало строго выкованное совершенство, холодное и надменное. Днём здесь стояли никому не нужные фонарные столбы с понуро опущенными головами. Теперь столбов не было. Были только силуэты каких-то чёрных исполинов, изливающих из-под капюшонов ледяной игольчатый свет. Странен был этот свет. Он жил только в пределах моста. Исполины словно искали что-то у себя под ногами, безучастные ко всему остальному миру. И казалось, что мост рассечён яркими полосатыми трапециями. И я шёл через эти трапеции, как сквозь бесчисленные, гостеприимно распахнутые ворота. А подо мною невидимая река с тихим плеском облизывала устои.

Когда я прошёл сквозь ворота, закат уже почти охладел, вдалеке бесформенной чёрной волной застыл холмистый горизонт. Я понял, что на автобус уже не успеть. Стояло совсем тихо, лишь иногда вскрикивала гулко какая-то птица. Сперва мне было немного досадно за мою секундную слабость, приведшую меня на мост, а потом я махнул рукой и решительно зашагал в поля, навстречу чёрной кардиограмме холмов. Мне подумалось: если уж я так бесцельно бродил целый день, что не заметил наступления темноты, если уж я пошёл на вечерний мост, чтобы обрести за рекой свою личную гармонию, значит, так тому и быть. К тому же, ночь коротка. Придёт восход, и я вернусь в город по утрённому мосту, чтобы провести внутри геометрической брони ещё один день, быть может, уже не настолько бесцельно.

08.06.2005

Зал ожидания

Пружина неприятно кольнула бок, и я открыл глаза. Давно небеленый потолок укоризненно висел над диваном. За матовым стеклом плафонов виднелись лежащие в пыли тела насекомых. Какая-то тварь с длинным раздвоенным хвостом ещё шевелилась. Я смотрел на неё, пока она не затихла, потом сел, потирая бок... За окном было темно и сыро. На табурете у дивана стоял остывший чай. Я выпил его большими глотками, и меня передёрнуло от терпкой горечи. Всё равно не уснуть. Да и к чему спать? В тысячный раз подумал, что надо бы купить новый диван, понимая, что ничего покупать не стану, как не стану белить потолок и очищать от мёртвых тел плафоны: мне это ни к чему, насекомым и подавно. Тварь с раздвоенным хвостом снова пошевелилась в пыли. До полуночи было далеко, до утра вечность. Надо как-то пережить эту вечность. Вышел на балкон. Мокрый, пронизывающий ветер блуждал в темноте. Торопливо выкурил сигарету. Красная звезда сверкнула и погасла внизу на траве. Вернулся в комнату. Тварь, похоже, умерла. Я снова ощутил едкое одиночество. Подошёл к отрывному календарю, висящему под настенными часами. Вытравил страницу и, сконкав, сжёг её в большой металлической пепельнице. Мне хотелось сократить этот день, день моего рождения.

В холодильнике стояла бутылка коньяка. Её под жидкие аплодисменты сослуживцев вручили мне минувшим утром. Быть может, коньяк поможет уснуть. Благо, завтра не на работу. Выпил пол чайного стакана. Отвратительный вкус. Впрочем, чего ожидать. Выкурил ещё сигарету. Ветер не унимался, но стало теплее, должно быть, от выпитого.

Письмо так и не пришло. Нелепо, конечно, но я ждал его. Два ряда обшарпанных стальных ящиков между первым и вторым этажами. Я и здесь преуспел. Самый обшарпанный, да и к тому же помятый ящик, конечно же, мой. Иногда в него кладут бесплатные газеты, иногда извещения о задолженностях.

Выпил ещё полстакана жидкости чайного цвета. Где они раздобыли такую гадость? Какое-то тоскливое тепло окутало тело. Ветер, блуждающий в темноте, уже не казался пронизывающим. Пять лет назад тоже дул ветер – хлесткий и колючий. Люди, шедшие за гробом, прятали лица и дышали на лезшие пальцы. Тяжелое набухшее небо висело так низко, что хотелось прыгнуть голову.

Никто не плакал. Моему деду было за восемьдесят. К чему слёзы? Всё в порядке вещей. Единственным, кого не устраивал такой порядок, был дед. Ему очень не хотелось умирать, но это не столь важно. Когда он всё-таки умер, я остался наедине с давно небеленым потолком, мёртвыми насекомыми и собственной жизнью, которая казалась безобразно длинной и тусклой. Жилистая фигура деда, его вечное скептическое бурчание по любому поводу утомляли, но утомление, по крайней мере, позволяло спать по ночам.

У меня, правда, оставалась куча двоюродных и бог знает каких ещё дядюшек, тётушек, бабушек и племянников, но все они жили за тридевять земель и о своих существовании напоминали раз в год, присылая деду на день рождения шаблонные телеграммы. Дед эти телеграммы никогда не читал, но, впрочем, и не выбрасывал, аккуратно складывая в ящик допотопного комода. Однажды мы даже ездили к ним в гости, но это было так давно, что не имело никакого значения.

Сперва мне не хотелось звать всю эту мало знакомую шайку на похороны, однако, поразмыслив, я решил, что моя одинокая фигура на фоне гроба будет смотреться нелепо и жалко, к тому же, я убеждён, что, не получив извещения о смерти, они и через сто лет продолжали бы слать эти дурацкие телеграммы, желая покойному счастья, здоровья и долгих лет жизни.

К моему облегчению, большая часть приглашённых предпочла отделаться всё теми же телеграммами, из каких я узнал, как мне глубочайше сочувствуют и сожалеют, что не имеют возможности быть со мною в эту тяжелую минуту. Не будучи столь щепетильным, как дед, я отправил всю эту дребедень в мешок для мусора.

Гости прибыли в день похорон. На вокзал я не поехал — некому было сидеть у гроба, да к тому же погода выдалась мерзкая.

Я сидел, глядя на суровое лицо деда, и прикидывал, где разместить всю эту компанию. Я надеялся, что дольше, чем на одну ночь, они не задержатся. Меня они едва знали, и никаких оснований докучать своим присутствием не имели.

Было ужасно скучно. Заходили соседи, очевидно, из любопытства. Дед никогда не отличался общительностью, а его неиссякаемое бурчание могло кого угодно свести с ума. Соседи приносили облизывания, да так и унесли их с собой, осознав, что мне они нужны не больше, чем деду.

До похорон оставалось три часа, родственники где-то заблудились. Чтобы не уснуть, я включил телевизор. Известный юморист читал свои стихи, зрительный зал покатывался со смеху. На душе сделалось веселее. Мне показалось, что даже дед едва заметно улыбаётся в гробу.

Стучали, должно быть, не один раз, наверное, вообразили, что звук электрического звонка каким-то образом оскорбит память усопшего.

Было их чуть больше десятка, примерно поровну мужчин и женщин.

Никого из них я не помнил, но оказалось, что меня почти все помнят прекрасно ещё с вот таких пор, впрочем, мне это было безразлично.

Они обнимали меня и призывали не падать духом, хотя я и не думал об этом.

Помнится, они едва не попадали, когда из зала, где стоял гроб, раздался истерический хохот, а потом бросали на меня осуждающие взгляды, словно телевизор был одним из семи смертных грехов.

Правда, особых угрызений совести я не испытал, в конце концов, кто как не я все эти годы выслушивал нескончаемое дедовское бурчание?

Очередная порция коньяка. Вкус исчез: так, что-то холодное, жгучее.

На балкон не пошёл. Дым растекался по комнате, наполненная алкоголем кровь мягко стучала в висках.

Гости расселись вокруг гроба и долго молчали, созерцая восковое лицо. Потом завязалась тихая благочестивая беседа: вспоминали бывшее, перечисляли заслуги усопшего, о которых я и слыхом не слыхивал, считая единственной заслугой деда его любовь ко сну, во время которого уши окружающих отдыхали и набирались сил для нового пробуждения. Со мною гости вели себя подчёркнуто сдержанно и разговаривали мало, по-видимому, из-за телевизора, и это мне очень нравилось, так как участвовать в конкурсе «кто лучше похвалит покойника» не было ни малейшего желания. Было одно желание, чтобы всё поскорее закончилось и они убрались восвояси.

Время ползло с убийственной медлительностью. От скуки я начал украдкой разглядывать их лица.

Должно быть, из-за того, что все женщины были в одинаковых черных платках, я не обратил на неё внимание сразу. Она была едва ли старше меня и знала деда в лучшем случае по фотографиям.

Озадаченно её рассматривая, я размышлял, каким образом она могла затесаться в эту компанию динозавров. Впрочем, мой интерес быстро угас, потому что, как ни старался, я не сумел разглядеть в её облике даже намека на привлекательность.

Наконец, за окном послышалось долгожданное урчание, и к дому подкатила крытая тентом трёхтонка: наш скромный катафалк.

Гроб оказался на удивление лёгким, в отличие от дороги на кладбище. Всю дорогу мы отчаянно мерзли, сидя на скамеечках, оборудованных вдоль бортов грузовика. К тому же кузов сильнейшим образом подбрасывало на ухабах. Осуждающие взгляды вопрошали, почему я не заказал автобус для дорогих гостей, и от этого становилось немного веселее. Я вспоминал все эти идиотские телеграммы, которые дед год за годом складывал в ящик комода, не читая, и мне вновь почувствовалось, что я вижу едва заметную улыбку на холодном лице.

На середине пути я вдруг почувствовал, как кто-то прижался ко мне. Сидели мы тесно, но это движение было преданмеренным, тут я не мог ошибиться. Под тентом было достаточно сумеречно, и никто этого не заметил. Я слегка повернул голову и, увидев, как её губы посерели от холода, подумал, что она-то уж точно не участвовала в составлении телеграмм. И я не отстранил её, хотя в сумерках она показалась мне ещё более непривлекательной.

Я достал из шкафа тяжёлый фотоальбом и лёг на диван, стараясь не задевать выпирающую пружину. Курил, равнодушно перелистывая пахнущие временем страницы. Часовая и минутная стрелка, наконец, встретились. Пепел от сожжённой страницы обрёл исторический статус, но ничего не изменилось. Хотелось встать и вырывать, вырывать, вырывать один за другим эти маленькие листки бумаги и жечь их. Это было глупое желание, и оно быстро прошло. Сожги я хоть двадцать календарей — волосы от этого не поседеют. Открыл последнюю страницу. Достал единственную фотографию, на которой была она. За окном стучало. Снова пошёл дождь. Не люблю осень, впрочем, зиму, весну и лето тоже. Сигарет осталось мало, это плохо — если не усну, придётся идти, а за окном стучит. Долго, задумчиво смотрел на снимок. Неловко повернулся и угодил на пружину. Как тут уснешь?

Поминальный обед я заказал в небольшой столовой недалеко от дома. Автобус дождался нас на кладбище. Могильщики опирались на измазанные глиной лопаты и лениво курили, сплёвывая в свежевырытую яму. Расположенное на вершине небольшого холма, кладбище было открыто всем ветрам, и фургон оказался не таким уж холодным.

Гроб поспешно засыпали землей и, вылив понемногу, поехали в столовую. В автобусе было тепло, но лица у родственников сохраняли хмурое осуждающее выражение. Она сидела где-то за моей спиной, и мне почему-то всю дорогу хотелось обернуться.

Поминальный обед прошёл тихо и без суеты. От горящей еды и водки родственники немного подобрали, во мне же, напротив, проснулось скверное настроение. Я представлял грядущую ночь и дюжину тел, лежащих вповалку на полу моей маленькой квартиры.

Разговора о ночлеге пока не заходило, но я знал, что их поезд завтра в третьем часу дня и пойти им некуда. Было бы полбеды, если они просто уснули бы, а рано утром тихо и незаметно исчезли, но мной отчего-то овладело тяжёлое предчувствие, что намечается что-то вроде ночи памяти с водкой и задумчивыми беседами, в которых мне припомнят и телевизор, и подпрыгивающую на ухабах холодную трёхтонку, и блуждание по городу, оттого что на вокзале их никто не встретил. В принципе я никогда не верил предчувствиям, но это вовсе не успокаивало.

Момент истины настал, когда мы вышли на улицу. До дома было десять минут неспешной ходьбы, и я закурил, собираясь с мыслями и всем своим видом давая знать, что, куда тлеет табак, никто никуда не пойдёт. Ветер, наполненный мельчайшими ледяными брызгами, метался между домами, ускоряя сгорание сигареты. Я бросил окуроч в стальную пасть урны и предложил то, что и без того подразумевалось, — скоротать ночь под моей скромной крышей. Как и требовал глупый этикет, родственники стали вяло возражать, говоря, что не желают доставлять лишние неудобства и отличию переночуют на вокзале. Напрасно они искушали судьбу своей никому не нужной вежливостью. Я закурил новую сигарету и спокойно оборвал последние нити, протянутые между нами. Мне помню дословно той фразы, непонятное злорадство помешало памяти, что-то наподобие «не хотите, как хотите». Пока они раздумывали над этой акустической галлюцинацией, я успел несколько раз затанцевать. Моих дальнейших объяснений, как быстрее и комфортнее добраться до вокзала, они, вероятно не слышали. Я вежливо выразил надежду свидетаться когда-нибудь, и так как никто не выказал желания обнять меня или хотя бы пожать на прощание руку, я быстро развернулся и зашагал по улице, торопясь уйти от этих осязаемых взглядов, в которых была отнюдь не ненависть, а какое-то безграничное почти что детское удивление.

Я шёл окружным путём, не думая о холоде. Мне нравился мой поступок, хотя я не считал, что он правильный. Купил в магазине большую бутылку водки и сигареты.

Я захлопнул альбом и встал. Вылил остаток коньяка в стакан. Получилось почти до краёв. Отпил половину и включил телевизор. Ничего интересного не было, но был голос. Я был пьян, но каким-то агрессивным опьянением, отторгающим сон.

Она стояла возле магазина, съёжившись от холода. В тех местах, откуда они все приехали, осень намного теплее, и пальто было совсем тонкое.

Она подошла ко мне и попросила сигарету. Мне понравился голос. Мы закурили. Не дожидаясь вопросов, она сказала, что её поезд послезавтра. «Почему?» — спросил я, но не словом, а взглядом. «Еще раз ехать с ними?» — как и я, взглядом спросила она. Глаза у неё были серые, впрочем, в тот миг серым было всё. И ещё я заметил с удивлением, что она одного роста со мною.

Я молча взял её за руку, и мы пошли домой, безразличные к ветру. «Еще раз ехать с ними?» Этот неозвученный ответ крутился у меня в голове, и я импульсивно сжимал её ладонь, не замечая, как низко над нами страшное лохматое небо.

В квартире всё еще стоял странный запах и два табурета посреди зала. Я открыл форточку и унёс табуреты в хуяну. Она сняла пальто и этот отвратительный чёрный платок. Я посмотрел на её темные коротко стриженные волосы и подумал, что с длинными ей было бы лучше. Парадоксально, но она нравилась мне тем больше, чем сильнее я убеждался в её непривлекательности. Слегка асимметричное лицо, рот слишком велик, не отличающаяся округлостью форм фигура, какая-то дисгармония в частностях, но необъяснимая гармония в целостности.

Она не стала спрашивать позволения принять ванну, просто включила воду и попросила дать ей что-нибудь из одежды. Мне нравилась эта уверенность. Я дал ей свой старый халат, подумав, что он будет как раз в пору, и, не спрашивая, будет ли она пить, пошёл за рюмками и закуской.

Никогда бы не подумал, что похороны способны так поднять настроение.

Мы сидели на скрипучем диване, пили, ели, курили, смотрели телевизор и громко смеялись, представляя лица родственников, сидящих в пластиковых креслах зала ожидания. Весёлое изумление вызвал тот факт, что она является мне в сущности тётей, хотя и младше меня на целых два года. Она рассказала, как ехала больше суток в поезде в окружении весёлой родни и как по прибытии сюда первым делом поменяла билет, решив, что слово «одиночество» не всегда имеет отрицательное значение. Я рассказывал ей, как едва не уснул, сидя у гроба, и как впал в отчаянье, представляя родню, жизнерадостно храпящую посреди зала. Она смеялась, я смеялся, и жечь календарные листы не было надобности – время горело само, точно пламя автогена, в котором плавилось ощущение реальности.

Вечер, ночь, глубокая ночь, вой настырного ветра, жалующегося на своё бессилие. В квартире был только один диван. Раскладушку, на которой спал дед, я отнес на помойку, как только в больнице сказали, что шансов уже нет.

Будучи воспитанным человеком, я уступил диван даме, и она с благодарностью приняла эту жертву. Впрочем, спать на полу никому той ночью не довелось – все спали на диване, причем стадия сна наступила не скоро.

Никогда я ещё не просыпался так поздно. Она лежала рядом со мной во всей своей гармоничной непривлекательности, и я думал, что это отличная замена вечно ворчащему деду.

Я допил остатки коньяка. Оставалось всего две сигареты, не считая той, которая дымилась в пальцах.

Я смотрел на снимок. Мы сфотографировались днём, когда гуляла по городу. Зайти в фотоателье предложила она. Снимок получился не совсем удачный – освещение было выбрано неправильно, из-за чего она вышла привлекательнее, чем была на самом деле, а мне этого совсем не хотелось. Слово «любовь» мне никогда не приходило в голову. Я вообще не сторонник абстрактных понятий, невесть что обозначающих.

Мне просто хотелось, чтобы, просыпаясь, я всегда видел рядом с собою эти коротко стриженные волосы, хотелось всегда слышать этот необычный смех и сжимать эту ладонь, гуляя по вечернему городу. Мне нравилось, как она курит. Нравилось, что она терпеть не может всю эту пуританствующую родню. При чём здесь любовь? Любовь представлялась мне чем-то мифологическим и нежизнеспособным, размахивающим белыми крылышками и играющим на арфе, чем-то рафинированным до тошноты.

Потом была ещё одна ночь, и время вновь пылало, выплевывая минуты пулемётными очередями. И были проводы на вокзале и её обещание написать. Телефонов у нас не было, а её адрес я не спросил, решил, что все равно узнаю его, когда придёт письмо.

Я долго стоял на перроне, глядя, как поезд растворяется в осеннем холоде, а потом пошёл домой и стал ждать.

Прошло пять лет, а я всё жду. Помятый почтовый ящик превратился в навязчивую идею. Сколько раз, заметив в соседних ящиках письмо, я вскрывал замки и доставал белые прямоугольники, надеясь, что почтальон спугнул номера квартир. Она знала дату моего рождения. Я сказал ей, и теперь эти дни особенно тоскливы, потому что овеяны терпкими запахами надежды и страха. Я жду письмо и боюсь письма. Жду, когда вспоминаю её глаза, обещающие написать, и боюсь, когда представляю бесчисленную вереницу дней, составляющих пять лет. И я порой не знаю, что лучше: жить с вечной надеждой на что-то или знать наверняка.

Тварь с раздвоенным хвостом вздрогнула и вдруг отчаянно забилась в пыли, точно устав от ожидания и намеренно приближая конец. Последняя сигарета неумолимо догорала в пепельнице. Магазин был рядом. Я оделся и взял деньги. Дождь стучал по асфальту, нудный осенний дождь. Я купил большую бутылку водки и сигареты. Возвращаясь, долго стоял и смотрел на пустой почтовый ящик.

Всё было безразлично: старый диван с торчащей пружиной, жёлтый от дыма потолок, фотография, лежащая на столе. Хотелось просто уснуть. Я знал, что утром проснусь, больной и разбитый, но мне было всё равно.

Я не стану метаться в пыли, приближая неизбежное.

Я налил половину чайного стакана, выпил, закурил, включил телевизор. Сам не заметил, как звенул, переключая каналы. Ничего интересного не было, но были голоса, голоса, голоса...

Июль 2005.

Новолуние

Никогда бы не подумал, что два тончайших, ничтожных кусочка металла могут иметь столь насмешливый вид. Половина второго. Звёзды, под ногами утоптаный снег, окаменевший от жуткого мороза. Отличное завершение новоселья.

Снова проверил карманы стынущими пальцами – ничего, впрочем, я знал, что ничего не найду:

массивная связка ключей мешала танцевать, положил на подоконник. Там они, очевидно, и лежат в данный момент. Такси уехало. Телефонный аккумулятор разрядился. Подъездная дверь закрыта.

Стоит глубокая ночь. Тридцать градусов ниже нуля. Возможно, бывают ситуации забавнее, но я о них не слышал.

От опьянения, навевающего дремоту, не осталось даже воспоминаний. Впрочем, предаваться воспоминаниям было бы как-то неуместно, тем более что, направляясь к другу на новоселье, подобный вариант возвращения домой я не рассматривал, и одежда, что была на мне, навевала мысли о неминуемой ампутации конечностей. Вообще в голове сперва бурлила какая-то каша, и лишь когда первые признаки оледенения коснулись ступней, мозг заработал ясно.

Движение автобусов начнётся через четыре часа. Позвонить неоткуда – ни одного круглосуточного заведения поблизости, на всех подъездах железные двери. Кидать снег в окна в надежде, что меня впустят и дадут позвонить, – нелепо. Самое большее, что для меня сделают, – вызовут патруль. В камере, разумеется, тепло, но это не выход. Служба спасения или скорая помощь недоступны – единственный в округе телефон-автомат почти год как лишён телефонной трубки. Надо же было поселиться в этой глуши.

Ближайший островок тепла – вытрезвитель. По единственной освещённой улице добрых четыре километра. Дворами ближе, но темнота. Всё равно что за закрытыми глазами. Так или иначе, около часа. Надо было идти сразу. Без десяти два. За двадцать минут можно было пройти немало. Ботинки и перчатки без меха – на новоселье были девушки, не пойдёшь же в валенках, а на улице – тридцать ниже нуля и девушка-ампутация притаилась в темноте. Я не знал, сколько времени понадобится морозу, чтобы эта особа показала своё лицо, но ступни уже начинала охватывать жгучая боль, а я всё ещё топтался возле подъезда, непонятно на что надеясь. Ни единого человека, только звёзды, огромные раскалённые звёзды, которые были слишком далеко, чтобы помочь мне своим теплом.

Вышел на единственную освещённую улицу. Подошвы ботинок сделали страшно скользкими, отдаляя и без того казавшийся недостижимым вытрезвитель.

Всё происходящее могло показаться идиотским сном, если бы не эта боль. В некоторых окнах горел свет: там тепло, там горячая вода и центральное отопление, и экран телевизора мерцает, и... Думать об этом было невыносимо. Я шёл, купаясь в жёлтом электрическом свете в окружении домашнего уюта, и замерзал. Ноги начали неметь, руки и тело ещё держались. Двадцать минут третьего, идти становится почти невозможно. Была оттепель, мороз ударил внезапно, дороги ещё не посыпали. Дикая мысль. Разбить витринное стекло и погреться в магазине в ожидании патруля. Впрочем, такая ли уж дикая мысль? За двадцать минут – от силы четверть пути, а ноги продолжают неметь и разрезаться на льду.

Я остановился, оглядывая большие окна, озарённые мертвенным люминесцентным светом. Сколько времени понадобится патрульной машине, чтобы приехать за мною? Впрочем, помещение не успеет промерзнуть в любом случае. Отойду подальше от выставленного стекла и, разувшись, прижму ноги к батарее. Сколько стоит стекло, но имеет значения. Новые ноги мне точно не купить. Выбрал самый последний проём, за которым смутно виднелась холодильная витрина. Разобью и уйду в противоположную часть магазина, подальше от всего, что напоминает о холоде.

Если бы я спас умирающего, разбив среди ночи окно аптеки, кто осудил бы меня? К чёрту закон. Он не помог мне, когда я остался с морозом один на один, и я не стану замерзать, чтобы уважить его мёртвые пункты и статьи. Уважать уместно, когда рядом мягкое кресло и телевизор мерцает напротив. Дело было за малостью – что-нибудь найти для удара. Что ж, в каждом дворе возле мусорных баков всегда можно найти подходящий кусок дерева или металла. Было без пятнадцати три. Стояла тьма новолуния, пересечённая узкой полосой освещённой улицы. Мои ноги уже почти ничего не чувствовали. Надо было найти, чем разбить стекло, но я не успел. Из-за угла магазина вышла женщина и пошла прямо на меня, медленно ступая по оледеневшему асфальту. Не знаю почему, но я, мечтавший о людях, вдруг почувствовал ужас и вспомнил свою бредовую фантазию о девушке-ампутации, таящейся во мраке.

Голова её была непокрыта, лёгкое пальто, лёгкие, далеко не зимние сапожки, тонкие перчатки и минус тридцать по Цельсию.

Меня она словно не видела, глядя на дорогу перед собою.

Будучи далёким от мистики человеком, за те несколько секунд я приблизился к ней вплотную и уже не знал, страх или мороз окончательно убили чувствительность в ногах. Но женщина вдруг заговорила, и всё прошло. Остановившись, она спросила, что я здесь делаю, и это был самый странный и в то же время самый разумный вопрос из всех, какие я когда-либо слышал. Помню, меня поразил необычайно печальный голос женщины. Холод сковал мои губы, и вместо ответа я молча указал на витринное стекло, понимая, что этот жест не способен ничего объяснить, однако она посмотрела на стекло, и я вздрогнул, услышав:

– Хотели погреться? – спросила женщина и, не дав мне опомниться, добавила, – говорят, смерть от холода приятна.

Её глаз я не видел – она по-прежнему смотрела на дорогу, словно в книгу, где написаны мои мысли и побуждения. Она, казалось, не замечала, что пар, рождённый дыханием, осыпается кристаллами.

Я хотел сказать что-то. Быть может, рассказать о том, как связка ключей мешала танцевать, о тёплом такси, летящем вдоль вереницы городских огней. Быть может – просто пожаловаться на судьбу, на

то, как холодно и одиноко мне было на этом нескончаемом скользком пути. Какие-то невысказанные слова тцетно бились о замёрзшие губы. Я не знал, насколько приятна смерть от холода, но, должно быть, весь мой вид выражал сомнение в этом, потому что женщина сказала:

– Мы все чего-то ищем, но немного тепла хочется каждому... Пойдёмте. Возможно, удастся найти ключ.

Я не мог понять сказанного, не мог понять, как она стоит и не мёрзнет в тонкой одежде, и меня посетила нехорошая мысль, что женщина не в себе. Ноги совсем отнялись. Передо мною тускло поблёскивало витринное стекло, прячущее тепло. И вдруг: «Пойдемте, возможно, удастся найти ключ». Какой ключ? Уж, не от врат ли небесных?

– Я живу неподалёку, – услышал я снова, – обронила ключ, пока шла сюда. Пойдёмте. Нельзя долго стоять на одном месте – появляется желание остаться.

Она повернулась и, всё так же глядя себе под ноги, повела меня прочь с освещённой улицы в пустую темноту новолуния.

Я шёл почти кто вслепую, не спуская взгляда с её едва различимой фигуры. Подошвы, как ни странно, больше не скользили, наверное, дороги во дворах были чем-то посыпаны. Ступней я уже не чувствовал, переставляя их точно протезы.

Она и впрямь жила неподалёку – через несколько минут мы уже стояли у одного из запертых подъездов длинной неказистой пятиэтажки. Это был единственный подъезд, над которым висел угрюмый фонарь, наполняющий двор мутным белёсым свечением. Во дворе не было даже детской площадки: только деревьев и одинокая диагональ тропы между соседними домами. Всё остальное было занесено снегом. И она, попросив меня подождать немного, вошла в этот снег, дохидивший ей до колен, и вскоре вернулась, держа в руке кольцо с двумя большими ключами на нём.

– Я нашла ключи, – сказала она, и в голосе не прозвучало ни радости, ни огорчения, – это было нетрудно – на снегу остался след.

Всё было понятно, кроме одного: как можно обронить ключи, чтобы они упали в десяти метрах от тропы.

Лязнул замок, и какое-то, почти первобытное, ощущение тепла окутало меня. Подъезд был чистый: свежая краска на ступенях, перилах и стенах, впрочем, всё это было второстепенно, первостепенна была лишь пышущая жаром батарея на площадке между этажами. Я бросился к ней и прижался всем телом, точно утопающий к своему спасителю. Я забыл обо всём, впитывая дыхание чугуна. Я потянулся к ботинкам, чтобы снять их, но не снял – она позвала меня, повернув ключ:

– Пойдёмте. В доме теплее и есть горячая вода и чай.

И я встал и вошёл. Холод не давал времени на размышление или удивление. Кто долго был лишён тепла, поймёт меня, уставшего и обезволенного, готового разбить витринное стекло магазина. Если бы у меня была рука длиной в сорок километров, я протянул бы её и взял ключи, лежащие на подоконнике, но такой руки не было, и я вошёл и только здесь, ощутив полновесное тепло, осознал, как же страшно я замёрз.

Она включила свет в прихожей, и я увидел, что квартира совсем крохотная. Я никогда раньше таких не видел. Единственная комната немногим превосходила кухню, к тому же не было балкона.

– Садитесь, – сказала женщина, указав на диван, после того как я наконец справился со шнурками – пальцы не слушались, – я включу воду. Хотите чаю?

Я отрицательно повертел головой: язык и губы отходили от мороза неохотно, казались толстыми и чужими.

Она ушла в ванную комнату, и я услышал гудение водопроводного крана. Тело охватила мелкая дрожь. Я не знал, хорошо это или плохо. Снял носки. Ступни были белые, точно гипс, и когда я дотрагивался до них, ничего не чувствовал.

– Разотрите, – послышалось надо мною. – Это поможет. – Она стояла рядом и протягивала мне большую пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью. Я осторожно поднес горлышко к носу, и меня передёрнуло.

– Это спирт, – сказала женщина и села в маленькое кресло, устало повесив голову. Я не обращал на неё внимания, озабоченный своими гипсовыми ногами. Если это был сон, и я проснулся в тот момент, я не смог бы вспомнить о ней ничего – только голос и лёгкое, почти осеннее пальто с большими квадратными пуговицами.

Спирт сделал своё дело. Вскоре появилось ощущение, что в кожу вонзилось множество горячих тонких игл. Было неприятно и приятно одновременно, как ни странно это звучит. Кожа порозовела, лёд, забивший поры, – растаял. Покальвание сменилось нестерпимым зудом. Хорошо, что женщина ушла проверять воду, и я мог делать зверские гримасы и скоблить свои ступни ногтями без всякого ущерба для авторитета.

Потом я лежал в горячей ванне, и пустынная улица, пятнистая от скупого света фонарей, и большое магазинное окно, на которое я смотрел с полубезумным вожделием, казались жуткой фантазмагорией. Казалось, я хлопнул дверью такси и сразу погрузился в эту воду, окружённую белым кафелем и едва уловимым ароматом мыла.

Жалко, что не было возможности одеться во всё свежее. Женщина сказала, что у неё нет ничего мужского, и почему-то извинилась, будто ангел, пришедший среди беспроглядности новолуния, мог быть хоть в чем-то виноват перед жалким человеком, замерзающим в окружении равнодушных домов.

Когда я вышел, раскрасневшийся и воскресший, она была в кухне. Я слышал, как постукивают дверцы шкафчиков и звенит посуда.

Я сел на диван и впервые осмысленно огляделся. Кроме дивана и кресла в комнате стоял только маленький плательный шкаф, журнальный столик да два высоких стеллажа, заполненных книгами. Был ещё палас на полу, старые настенные часы и несколько кактусов, стоящих на подоконнике в крохотных белых горшках. Ни телевизора, ни какой-нибудь другой аппаратуры. И ни единой фотографии, ни на стенах, ни на полках стеллажей. Я подошёл к книгам. Мне бросился в глаза большой потрёпанный альбом, лежащий особняком.

Я взял его в руки. Это был сборник репродукций мировых шедевров.

Я открыл альбом. В верхнем уголке стояла дарственная надпись. Я прочёл её с каким-то смутным и непонятым волнением и поспешно положил альбом на место, словно боялся быть застигнутым за этим, в сущности, безобидным вторжением в личную жизнь.

Альбом был подарен своей любимой каким-то мужчиной, почти десять лет назад, в её двадцатый день рождения. Чернила местами были размыты, точно на них когда-то попала влага.

Судя по числам, женщина была моей ровесницей. Почему-то это меня удивило. До того она была лишь силуэтом в ночи, голосом, не имеющим возраста, и я подумал, что лучший способ разрушить романтический образ – это приставить к нему цифру. Неважно какую – возраст, вес, размер заработной платы или серию паспорта, любая цифра несёт в себе что-то угловатое и мертвящее.

За размышлениями я не заметил, что звон и постукивание стихли.

Она вошла и поставила на журнальный столик поднос. На подносе был гранёный стакан и тарелка с хлебом, сыром, ветчиной и маринованными огурчиками, но всё это я увидел позднее. Я смотрел на её лицо – лицо сорокалетней женщины. Я смотрел на морщины вокруг глаз. На унылые щеки, потерявшие упругость. На волосы, которые, подобно ласковой ненавязчивой плесени, начала подёргивать седина. Надпись в альбоме не могла быть адресована этой женщине. Она была адресована какой-то другой, которой нет ещё и тридцати. Мне отчего-то сделалось страшно и тоскливо, как будто до размолввшего в дремотном тепле тела вновь дотронулись ледяные щупальца улыцы.

– Вот... Поешьте, выпейте... Потом ложитесь, отдохайте... Диван, правда, старый, но он ещё ничего... удобный.

Она произнесла все это с какой-то ровной монотонностью. На меня она не глядела.

Мой речевой аппарат был теперь в полном порядке. Я понимал: настало время что-то сказать, что-то спросить, но я не мог. Я сидел в непонятном ступоре, не дотрагиваясь до еды и молча глядя на её седину.

– Выпейте, – повторила она, – я развела спирт и добавила перец... Вы долго были на морозе... Выпейте.

Этот голос не просил и не приказывал – он убеждал, и я протянул руку и опорожнил стакан. Горло точно пламенем охватило, комната покачнулась передо мною и часто, лихорадочно дыша, я принялся набивать рот едой. Должно быть, это выглядело забавно, но она даже не улыбнулась.

Жар понемногу улёгся. Сделалось хорошо, покойно. Я вдруг подумал, что с того момента, как мы встретились у фасада магазина, говорила только она, я не произнёс ни единого слова. Я понимал, что надо поблагодарить её, а потом извиниться и уйти. Моё положение, словно каламбур, было недвусмысленно двусмысленным.

Греться в чужой ванне, комната покачнулась передо мною и часто, лихорадочно дыша, я принялся набивать рот едой. Должно быть, это выглядело забавно, но она даже не улыбнулась. Жар понемногу улёгся. Сделалось хорошо, покойно. Я вдруг подумал, что с того момента, как мы встретились у фасада магазина, говорила только она, я не произнёс ни единого слова. Я понимал, что надо поблагодарить её, а потом извиниться и уйти. Моё положение, словно каламбур, было недвусмысленно двусмысленным.

Греться в чужой ванне, комната покачнулась передо мною и часто, лихорадочно дыша, я принялся набивать рот едой. Должно быть, это выглядело забавно, но она даже не улыбнулась.

Женщина достала из шкафа подушку, синее шерстяное одеяло и положила на диван рядом со мною. – Отдыхайте, – вновь повторила она, – я всё равно не сплю по ночам...

И опять те тени просьбы или приказа, только мягкое неотразимое убеждение. Она сказала, и я тотчас, как это ни нелепо, подумал, что и впрямь самое разумное, что можно сделать, – это лечь и, вытянув ноги под синим шерстяным одеялом, уснуть. К тому же спирт наполнил тело негой, ничего уже не хотелось – ни уходить, ни звонить, ни задавать вопросы. Я послушно лёг и, накрывшись одеялом, почти мгновенно уснул. Спал я крепко, но впоследствии меня не раз посещало призрачное воспоминание, будто той ночью я на миг проснулся и тотчас снова погрузился в небытие. И мне до

сих пор кажется, хотя я и не уверен, что в миг того короткого пробуждения я услышал шелест бумаги и какой-то сдавленный тихий звук, похожий на плач.

Проснулся я от яркого света, затопившего маленькую квартиру. Со старых настенных часов на меня удивлённо смотрел полдень. На журнальном столике, исторгая ароматный пар, стояла сковородка с посыпанным тёртым сыром омлетом, из омлета выглядывали румяные ломтики ветчины. Она вошла и поставила рядом со сковородкой горячий чай и сахарницу.

– На улице потеплело, – сказала она, – поешьте немного... Всё свежее. Я сходила в магазин, пока вы спали. Здесь недалеко... Вы знаете...

Смирившись со своей ролью послушного безвольного гостя, я взял вилку.

Женщина сидела в кресле, пока я ел, и неподвижно глядела на стену, где висели часы. Я понял, что она ждёт момента, когда я оденусь и уйду.

Мне было очень неловко, но не оттого, что я чувствовал себя лишним, а оттого, что мне был непонятен смысл происходящего. Я чувствовал себя участником спектакля, в котором мне отвели роль статиста, не дав даже слов.

Поев, я открыл, было, рот, но она чуть заметно покачала головой, я с удивлением осознал, как пошло, глупо и искусственно прозвучали бы слова благодарности, успей я вымолвить их.

Потом она стояла, прислонившись к дверному косяку, печально наблюдая, как я торопливо и неуклюже завязываю шнурки на ботинках. Я готов был уйти, так, не сказав ничего, но в тот момент, когда ноги уже стояли на лестничной площадке, я обернулся, и мой взгляд встретился с её взглядом, и всё невысказанное взорвалось во мне. Всё невысказанное фонтаном взметнулось к губам и там обернулось в одно большое кристально ясное слово, в котором уместилось удивление, благодарность, недоверие, страх – всё, что было испытано мною в ту странную ночь новолуния:

– Зачем?

Женщина опустила взгляд и тихо, чуть слышно прошептала то, чего я меньше всего ожидал:

– Я не знаю...

– Мы ещё встретимся когда-нибудь? – спросил я зачем-то, и дверь захлопнулась. Для меня так и осталось тайной – действительно прозвучало это или просто послышалось, но когда я развернулся, чтобы уйти, три слова кольнули мое подсознание: «Мы обязательно увидимся» – почувдилось мне.

После той ночи действительно потеплело. Наступил новый год. Про ту ночь я никому не рассказывал. Сказал, что переждал её в подъезде, и это всех немало посмешило. Потянулись будни, я ходил на работу, в выходные выпивал в дружеской компании. Всё было как всегда, но что-то неуповимо тревожное вкрадось в мою жизнь, что-то, от чего я внезапно просыпался по ночам и долго не мог избавиться от ощущения, что мне послышался шелест бумаги. Что-то, от чего я перестал ходить мимо магазина, витринное стекло которого уцелело лишь благодаря мистической случайности.

Оттепель была долгая, и крещенские морозы, ударившие резко и злобно, застали меня врасплох.

Завод, на котором я работаю, очень далеко – приходится просыпаться задолго до наступления рассвета и спешить на автобус. Улицы в это время пусты и безжизненны.

Я оделся очень легко и, выйдя на улицу, понял свою ошибку. Я сразу вспомнил ту ночь и девушку-ампутацию, притаившуюся в тёмных дворах.

Как ни удивительно, этой ночью было новолуние. Я шёл к остановке, мечтая поскорее оказаться в автобусе. Я глядел под ноги, боясь поскользнуться. Возле остановки был маленький освещённый скверик с лавочками и фонтанчиком, засыпанным землёй и много лет уже исполняющим функции клумбы. Летом здесь всегда полно распивающей пиво молодёжи. Зимой – только снег и холод.

Когда я подошёл к остановке, в скверике уже были люди. Их было человек двадцать, в основном такие же, как я, работники далеко расположенных предприятий. Они окружили одну из лавочек и, бурно жестикулируя, что-то обсуждали. Сначала я почувствовал удивление, но когда из темноты шоссе выпрыгнули два жёлтых пятна, и карета скорой помощи с визгом остановилась у обочины, удивление прошло. Я бросился в толпу, расталкивая людей руками и задыхаясь от ужаса.

Она сидела на лавочке. Голова её была непокрыта, а лёгкое пальто с большими квадратными пуговицами растёгнуто. Она улыбалась, морщины на её лице разгладились, а седина была незаметна в полутьме. Ей снова было столько, сколько и должно было быть – чуть меньше тридцати. Я стоял и тяжело дышал. Руки мои тряслись, но не от холода. Знакомая, что ли? — спросил какой-то мужчина. Я закрыл глаза, сдерживая дыхание.

– Нет. Я обзаялся... – тихо ответил я и, развернувшись, побрёл прочь от остановки.

На работу я в тот день не пошёл, и в следующий, и в следующий, и таких дней было много. Иногда полезно иметь знакомых врачей. Я пошёл туда, где одинокий фонарь наполнял двор угрюмым мутным светом. Я сошёл с тропы и увидел маленький продолговатый след на снегу. Сняв перчатку и довольно быстро нашел в суробе кольцо с двумя большими ключами на нём. Открыл подъездную дверь, поднялся по чистому свежевыкрашенному подъезду и вошёл в маленькую квартиру. Не задерживаясь и не раздумывая, я разулся.

Альбом лежал на том же самом месте. Я не стал его открывать, просто положил в пакет и, быстро обувшись, ушёл.

Выйдя из подъезда, я остановился на тропе и, недолго подумав, закинул ключи в снег. Обратной дороги не было, и ключи были больше не нужны ни ей, ни мне.

Дома я позвонил на работу и сказал, что заболел. Мне было все равно, что обо мне подумает начальство.

Потом я сел в кресло и открыл альбом. Под дарственной надписью появилась приписка. Я долго смотрел на неё, ощущая жжение в глазах. Приписка была очень короткая, всего два слова: «С Любовью» и дата. Приписка была сделана несколько часов назад. Капля влаги упала на бумагу. Я смотрел, как медленно расплываются чернила, и мне никогда ещё не было так плохо.

Я ощущал, как что-то очень важное прошло мимо меня и скрылось навсегда в темноте новолуния.

Я мог что-то сделать той ночью, но не сделал. А может быть, и нельзя было сделать ничего, но этого мне никогда не узнать.

С того памятного новолуния я почти не сплю по ночам, потому что мне чудится, что кто-то постукивает на кухне дверцами шкафчиков и звенит посудой.

Обычно я сижу в кресле, телевизор выключен, а на коленях у меня лежит большой альбом с репродукциями. Я слушаю шелест бумаги и иногда на глазах у меня появляются слёзы.

И если бы в эти мгновения кто-нибудь вошёл в мою маленькую квартиру и, взглянув на меня, спросил: «Зачем?», я без сомнения ответил бы ему: «Я не знаю...»

Июль 2005.

Пыль

Любимой жене Ольге посвящаяю

Рассвет в то утро был розовым и нежным, и птицы пели красиво, должно быть, восхваляя вечную молодость и вечное счастье. Её молодость и её счастье.

Она стояла на тёплом мягком ковре, глядя в большое овальное зеркало, в котором надменная богиня поправляла непослушные вьющиеся локоны. Зелёные глаза богини искрились, кожа светилась не отраженным светом жёлтого торшера, а внутренним светом, точно солнце восходило не за окном, а в её душе, точно она сама была крохотным солнцем, призванным согреть собственный маленький мир и тех немногих счастливцев, живущих в этом мире.

Правда, пока в нём жил лишь один Счастливец, и тем счастливец он был, безраздельно купаясь в тепле и свете крохотного солнца. Она осторожно провела ладонью по гладкому животу и тихо засмеялась: трудно поверить, что там кто-то есть, внешне ничего не изменилось. Скоро счастливцу придётся делиться светом и теплом, но он и не заметит того, ведь в ней столько счастья. Она молода, она богиня и вечная жизнь впереди. Розовый восход и пение птиц за окном. Всё это безразмерно. Всё это вне времени.

Она подошла к окну и несколько минут стояла, улыбаясь утреннему небу. Потом перевела взгляд на большую кровать, где, зарывшись лицом в подушку, спал счастливцев. Как ей хотелось, чтобы он встал и тоже увидел этот восход и услышал птиц, поющих о жизни и любви, но те полтора часа, оставшихся до звонка будильника, были нужны счастливцу. Завод, на который ему предстояло ехать, не любил сонных и вялых рабочих, и с ними порой случались нехорошие и даже страшные вещи.

Он не рассказывал ей о своей работе, говоря лишь, что работа несложна и безопасна, но она не верила, представляя крохотные фигурки людей среди раскалённых металлических потоков и пурпурных ядовитых облаков.

Это было жутко, но отдавало некой романтикой, героическим самопожертвованием, и всякий раз, думая о том, она ощущала нежную грусть и желание сделать что-нибудь для него.

Тихо одевшись и умывшись холодной водой, она прошла в кухню и, затворив дверь, чтобы шум не тревожил счастливца, приготовила завтрак. Хотелось сделать что-то особенное, но фантазия не вписывалась в объём небольшого холодильника. Бутерброды с маслом, сыром и колбасой. Впрочем, это далеко не худшее из того, что едят люди. Аккуратные ломтики хлеба, свежая зелень – и всё очень даже неплохо. Сварила какао, зная, что он очень его любит. Прохлада, плывущая сквозь открытую форточку, пропиталась тонким шоколадным ароматом. Птицы уже не пели. Шаркающие звуки метлы доносились со двора. Длинный летний день протирал заспанные глаза и многообещающе улыбался.

В комнате запищал будильник. Мерзкий, требовательный писк. Она вышла из кухни и засмеялась. Вместо того чтобы встать, счастливцев накрыл голову одеялом, пытаясь спрятаться от этого писка, зовущего в мир расплавленного металла и ядовитых облаков.

Выключив будильник, она присела рядом со счастливцем. Нежное объятие, ласковый шёпот и сон, неподвластный электронному писку, начал отступать. Недовольно бурча и жмурясь от льющегося с улицы света, счастливцев полёлся в ванную комнату.

Полилась вода. Золотые солнечные пятна радостно бегали по комнате. Клён медленно красиво покачивался за окном. Она слушала, как счастливцев фыркает и отдувается в ванной, и ей казалось, что нет ничего замечательнее этих звуков.

Когда он вышел, постель уже была убрана, а на столике стоял разнос с бутербродами, и приятно пахнущий пар клубился над большой белой чашкой. Благодарный поцелуй, немое восхищение в его глазах. Он действительно счастливцев. Как жаль, что надо одеваться и идти работать, что нельзя остаться и сидеть, купаясь в этом тепле и слушая, как клён шелестит за окном. Но служебный автобус не станет ждать, и на заводе никто не улыбнётся понимающе, заметив отсутствие счастливица, и разнос с бутербродами не возникнет из ничего, если автобус уедет.

Хлопнула дверь. На разносе стояла пустая белая чашка в окружении колючих хлебных крошек.

Она вздохнула. Лёгкая растерянность промелькнула в глазах, но тотчас исчезла. Дневной двор наполнился звуками человеческих голосов и добродушным собачьим лаем.

Она села в кресло и принялась листать толстый глянцевоый журнал, пытаясь скрасить непривычное одиночество цветастыми фотографиями искусственных людей.

Одиночество не скрасилось, но через какое-то время сделалось более привычным и понятным. Ведь солнце светит, и клён шелестит, и ничто не меняется: так будет всегда. Он вернётся, и вновь будет восхищение в его глазах и благодарный поцелуй. У него будут выходные дни, и будет отпуск. И будут весёлые поездки и путешествия, танцы и объятия. Будет жизнь. Жизнь, подобная глубокому деревенскому колдовцу. Жизнь, которую нельзя вычерпнуть до дна, потому как с каждым солнечным восходом она наполняется вновь.

Она отложила журнал, и тень набежала вдруг на её лицо. Тонкий слой пыли лежал на предметах невесомым покрывалом. Отчего-то ей стало страшно, правда, лишь на мгновение, столь кратко, что она, пожалуй, даже не успела осознать страх. Ведь это была всего только пыль, обычная пыль.

Ей казалось, что она вытирала недавно, хотя она и не помнила в точности, когда это было. Сколько прошло с той минуты?

Она подошла к зеркалу, в котором недавно искрились зелёные глаза, и кожа светилась, точно поверхность крохотного солнца. Стекло запылилось, и пушистый серый налёт лёг на юное лицо зазеркальной богини, её взгляд потускнел, и словно какая-то усталость неулловимо изменила знакомые черты.

Она подняла руку и провела по зеркалу указательным пальцем. Пыльный занавес немного раздвинулся. С опаской, затаив дыхание, она приблизилась к зеркалу лицо и заглянула за кулисы. Нет. Ничего не изменилось. Богиня была там, и искры не исчезли, и кожа всё также светилась: какое облегчение. Это просто пыль, всё дело в пыли. И полумгла, плавающая по комнате, и тень, набежавшая на лицо. Пыль осела на оконном стекле и, подобно невидимому фильтру, улавливала свет. Свет не исчез, он остался, но не мог найти дорогу среди этих мельчайших серых частиц. Ничего страшного не случилось. Всё станет как прежде. Надо только сделать небольшую уборку.

Она унесла на кухню разнос. Немытая посуда громоздилась на нержавеющей мойке. Откуда она взялась? Казалось, утром, когда варилось какао, всё было чисто. Впрочем, она в точности не помнила этого. Возможно, просто не обратила внимания на все эти тарелки, кастрюли, вилки и ложки с присохшими остатками обедов и ужинов. Хотя, всё к лучшему. Время побежит быстрее, приближая момент, когда отворится дверь, войдёт счастливцев, и они солются в поцелуе.

Зажурчала вода. Раскрасневшиеся руки замелькали, звеня тарелками и разбрызгивая тёплые капли. Время и впрямь встрепенулось, её предположение оказалось верным. Приближался полдень. Хотелось поскорее разделаться с пылью, однако надо было сперва приготовить обед.

Есть почему-то не хотелось. Должно быть, завтрак был плотным, хотя она и не помнила, из чего он состоял и вообще был ли он, этот завтрак. Но счастливцев вернётся голодный и наверняка расстроится, обнаружив не накрытый стол.

Сварила борщ, для чего пришлось сбежать в магазин. День был тёплый и безоблачный. Небо ещё не успело запылиться.

Её немного беспокоила мысль, что пыль продолжает накапливаться, пока она стоит у плиты. Мысль подгоняла, заставляла торопиться и делать лишние суетливые движения, отчего беспокойство усиливалось и пропадал аппетит. И предстоящая борьба с поглотителем света уже не вдохновляла. Она скорее утомляла, ещё не начавшись. И вместо желания приблизить возникло другое желание: оттянуть эту борьбу, быть может, дожидаться возвращения мужа, чтобы преодолеть это вместе.

Но она понимала, что он придёт уставшим, у него не будет сил на эту борьбу. Это её борьба. Её предназначение вернуть свет в этот маленький мир.

Она набрала воду в ведро и, взяв тряпку, вышла на середину комнаты, с настороженным вниманием оглядывая поле битвы. Ничего не изменилось, только занавес, скрывающий зазеркалье, обрёл прежний вид. Полоска, прочерченная указательным пальцем, исчезла, и богиня выглядела совсем уставшей. Да ещё огромная паутина появилась в углу за креслом, пока на кухне звенела посуда. Посреди паутины сидел большой паук и задумчиво смотрел на ведро и тряпку, предчувствуя беду.

Тем временем комната продолжала погружаться во мглу, всё более плотными становились серые оконные фильтры.

Она зажгла электрический свет. Оказалось, что пыль повсюду. Местами даже с потолка свисали причудливые нити, похожие на уродливые лишайники. Что-то похожее на бессилие начинало подниматься в душе, подавляя волю и тягу к борьбе. Захотелось лечь и лежать с закрытыми глазами,

не думая ни о чём и ничего не ожидая. Пусть пауки плетут сети, пусть нити удлиняются, пока новые стены не встанут между полом и потолком. Пусть сгущается мгла. Всё равно эту пыль не победить, и пелена, однажды затянущая зазеркалье, останется, и никакие потоки воды не сорвут эту пелену. До возвращения счастливица оставалось не так много времени. Что скажет он, увидев нити, свисающие с потолка, и задумчивого паука, поселившегося в углу за креслом?

Вдруг ей показалось, что за паутиной что-то виднеется. Не выпускала тряпки из рук, она приблизилась. Паук юркнул в какую-то щёлку и затаился, отдавая свои владения на поругание судьбе.

За паутиной оказалась дверь. Самая обыкновенная фанерная дверь Необыкновенным было лишь то, что она не помнила этой двери. Кажется, утром стена была гладкой, хотя она могла и не обратить внимания на такую мелочь. Утром пели птицы, и розовый восход заливал комнату волшебным обманчивым светом. Паутины точно не было, и пыльный занавес ещё не опустился между комнатой и зазеркальем, а дверь, вполне возможно, была, а быть может, не дверь, а предчувствие её появления имело место, но тогда она слишком увлеклась созерцанием зеленоглазой богини, она была очарована и ничего не замечала ни вокруг, ни внутри себя.

Аккуратно и безрешливо смахнув липкое паучье кружево, она с опаской, стараясь не скрипеть, потянула за дверную ручку.

Радостное спокойствие посетило её от вида, открывшегося перед глазами.

Сын сидел за маленьким письменным столом и делал уроки. Раскрытые учебники и тетради, карандаши, авторучки. Работа кипела. Было заметно, что он увлечён и относится к делу серьёзно. Но ещё больше её порадовала комната, очень солнечная и чистая; радость детства жила в этой комнате, и серые фильтры ничего не смогли с ней поделать.

Сын почувствовал её взгляд и, обернувшись, подарил улыбку. Она тоже улыбнулась ему и тихо притворила дверь. Не надо его отвлекать, не надо слишком широко отворять фанерную дверь, давая тем самым пыли шанс проскользнуть в этот светлый уголок.

А мгла всё сгущалась. Нити удлинились настолько, что их можно было коснуться рукой. В противоположной части комнаты появилась новая паутина, посреди которой так же сидел паук и смотрел на тряпку, но уже не задумчиво, а вызывающе.

Без сил она опустилась на диван, чувствуя тупую застарелую боль в ногах и спине. Так она сидела до тех пор, пока не щёлкнул замок и в комнату не вошёл счастливцев.

Она подняла глаза и сразу поняла, что поцелуев и немного восхищения не будет. По крайней мере, сегодня. Счастливцев выглядел страшно уставшим. Вероятно, это была очень тяжёлая смена. Даже волосы счастливица поредели и изменили цвет от этой страшной усталости. Как подрубленный, он повалился на диван и, включив телевизор, устремил на экран взгляд потухших немигающих глаз.

На неё он не смотрел, быть может, даже не замечал, что она рядом; сидит на том же самом диване и перебирает в руках старую пыльную тряпку.

Так они и сидели: молчаливые и уставшие. Серые нити удлинялись. Занавес, скрывающий зазеркалье, становился плотнее. Близилось время заката.

Потом из солнечной комнаты вышел сын и сказал, что ему пора идти. Они не задерживали его, понимая, что ему действительно пора, просто крепко по очереди обняли его, а она ещё трижды поцеловала в колючие щёки, для чего сыну пришлось наклониться.

Вновь щёлкнул замок, после чего счастливцев сказал ей, что на работу больше не пойдёт, и отправился спать.

Она осталась одна. Начинался закат. Птицы не пели, и не шелестел молодой клён за окном. Серые фильтры сделались очень плотными, но даже они не могли скрыть от её взора мрачной прелести багрового заката.

Она подошла к большому овальному зеркалу. Занавес опустился. Богиня практически исчезла. Лишь какие-то едва уловимые знакомые контуры просвечивали через слой непроницаемой пыли. На душе был покой. Она не смогла справиться с пылью, не смогла изгнать задумчивых пауков. Но она хотя бы сохранила кусочек крохотного солнца в той маленькой комнате за креслом.

Тьма сгущалась неотвратимо и быстро. Серые нити, уже почти достигшие пола, казались черными.

Последние багровые отблески гасли за окном.

Двор опустел. Не слышно было людских голосов и красивого шуршания метлы.

Только одинокая собака выла тоскливо у переполненных мусорных баков, прожоявая крохотное солнце, уходящее в темноту.

Февраль-март, 2006

По ту сторону асфальта

Я хорошо помню прошлую зиму. Не то, что это была какая-то особенная зима, скорее наоборот – она выдалась весьма непримечательной. Даже морозы стояли непримечательно мягкие. Запомнилась зима благодаря другому, в сущности, также непримечательному событию, прошедшему сразу после новогодних праздников, которые запомнились меньше всего, так как пролетели в буйном, прямо-таки и в захватском беспамятстве, оставившем после себя щемящее ощущение

дискомфорта. Мне казалось, что я как-то дискредитировал себя в глазах новогодних сотрапезников. Разумеется, это была глупая мнительность, не более того.

И даже допуская сам факт дискредитации, я понимал, что сотрапезники все благополучно забыли и пребывали в точно таком же, как и я, состоянии щемящего дискомфорта.

Помнится, я проснулся на нерасправленной кровати. На мне была несвежая и измятая верхняя одежда, а внутри меня поселилась суровая ненависть к окружающему миру и населяющим его людям, хотя и не люди и не мир заставили меня спать в несвежей одежде, на нерасправленной кровати.

Часы показывали пять, но не показывали, утро в данный момент или вечер. Кроме того, часы не показывали даты, и это было скверно, потому что утром третьего января мне предстояло идти на работу, а показывающие пять часы были единственным зыбким ориентиром в океане серого времени. Новый год наступил, и в этом новом году моей старой голове было неуютно и больно. Голова понимала, что ей надо выбираться из провала, но на этом навязчивом понимании возможности головы заканчивались. Единственным маленьким утешением в тот трудный момент оказалась кровать, потому как это была моя кровать, стоящая в спальне двухкомнатной квартиры, которую сдавала мне внаём полусумасшедшая старушенция, считавшая меня невесть по каким причинам своим дальним родственником и постоянно докучавшая нравочениями и советами. Только тот факт, что квартира располагалась в самом центре города и из окон её открывался великолепный вид на площадь с фонтаном, удерживал меня от убийства старушенции и заставлял вести себя в её присутствии деликатно и сдержанно. Впрочем, вид на фонтан никоим образом не способствовал улучшению той скверной ситуации, в которой я очутился, и будь под моим окном хоть десять фонтанов, ничего не изменилось бы.

Я сел на кровати, мучительно морщась, массируя пальцами огненные виски и содрогаясь при мысли о том, что со мной будет, если сегодняшнее число окажется третьим января.

Вспомнил о мобильном телефоне. Долго, с механическим упрямством ходил по квартире, несколько раз проверив карманы пуховика, лежавшего в прихожей на затоптанном грязном линолеуме. Ничего не нашёл. Впору было лечь обратно на кровать и заплакать.

Спасли телевизор и невесть откуда появившаяся в поглупевшей голове идея. Сопоставив болезнетворное мерцание экрана с напечатанной в газете программой передач, я понял, что время умирать ещё не пришло. Утро второго января и целая пропасть между мной и ненавистной цифрой «три», которая хотела меня – несчастного и больного – заставить работать. Я достал из холодильника бутылку шампанского и, злобно расстреляв старушечий потолок, наполнил шипучим бальзамом большую металлическую кружку.

В маленькой, почти игрушечной кухне было уютно. Я сидел на старом табурете и сумрачно внимал голосу шампанского, ожидая облегчения. И я дождался его. Звуки и запахи вернулись в ненавистный мир, и ненависть ушла. Чувствуя неизъяснимое желание жить, я открыл форточку и закурил. Над площадью красиво горели желтоватые фонари, вырисовывались контуры спящего фонтана и засыпанных снегом скамеек. Изображение площади было нечётким, потому как я глядел на неё сквозь свое потрёпанное отражение, и я не сразу заметил то, благодаря чему столь непримечательная зима запомнилась навсегда.

Я не помню, для чего прислонился лбом к оконному стеклу, не помню, для чего стал всматриваться в желтоватую темноту. В сущности, я не помню даже, удивился ли я, увидев человеческий силуэт на самой дальней скамейке. Само по себе это зрелище едва ли было достойно удивления: да, стояла зима, и часы показывали шесть утра, и скамейки утопали в снегу, который безостановочно валил всю новогоднюю ночь. Но новогодняя ночь для того и создана, чтобы люди, скоротав её, просыпались в самых неожиданных местах. Кто-то просыпается в съёмной квартире на нерасправленной кровати, кто-то – на заснеженной лавочке у спящего фонтана. У каждого своя тропа в ночи и свои часы на запястье. Однако в то зимнее утро всё обычное преломлялось через призму моего состояния и порождало странные причудливые ощущения.

Яркий электрический свет заливал игрушечную кухню, а занавесок не было, и стойкое, граничащее с уверенностью чувство, что человек, одиноко сидящий на холодной скамейке, смотрит в моё окно, посетило меня.

Не знаю почему, но я испугался. Вероятно, мои нервы просто устали от праздника. Быстро отступив от окна, я щёлкнул кнопкой выключателя. Потрёпанное отражение исчезло – я сделался невидимым. Ещё одна бутылка шампанского появилась в моих руках. На этот раз я вытащил пробку аккуратно, стараясь не шуметь.

Придвинул табурет к подоконнику и сел. Площадь лежала подо мной как на ладони: белый прямоугольник, окаймлённый асфальтом. Унылые серые плиты жилого массива обступали этот прямоугольник. Колючие зимние звёзды красиво мерцали. Из открытой форточки тянуло прохладой, но я ничего не замечал, пытаюсь осторожно рассмотреть сидящего на скамейке. Мешало расстояние, но то, что это женщина и женщина молодая, я понял сразу. На ней была короткая шубка из какого-то светлого меха и белая вязаная шапочка. Только безосновательная уверенность в том, что минуту

назад женщина смотрела в моё окно, подсказывала мне, что она жива, что это не скульптура, появлявшаяся здесь в моё отсутствие.

Добрых двадцать минут сидел я в темноте, наблюдая и слыша лишь мерное гудение холодильника.

Её скульптурная неподвижность сбивала меня с толку и начинала беспокоить, я похлопал по карманам. Вспомнил, что оставил сигареты на комодке, возле телевизора.

В кухню я вернулся через две минуты, не больше. Скамейка была пуста, и на всей площади, и в отдалении, среди серых домов я не смог различить ни единого человека.

Помню, как я неторопливо, задумчиво курил, глядя сквозь стекло на мёртвую безлюдную площадь, и какое-то непонятное жуткое одиночество ощутил я в те короткие минуты. Словно весь город, посреди которого я сидел на табуретке, состоял из таких вот мёртвых, замётённых снегом, улиц и площадей.

Я всматривался в этот снег, и порой мне казалось, что я вижу тропинку. Может быть, даже не тропинку, а тонкую цепочку следов, ведущих от той скамейки в тёмные дворы. Ещё я припомнил, что мне хотелось выйти на улицу, но я не решился. Тогда я внушил себе, что это обычное проявление здравого смысла.

Брести по снегу в шесть часов утра, искать следы неизвестной женщины – что может быть глупее? Но теперь я догадываюсь, что попросту испугался. Испугался этой тишины и этих бледных фонарей, и того, что, добравшись до скамейки, обнаружу снежное покрывало, не смятое ничьим прикосновением.

Потом был рассвет.

Люди ходили через ожившую площадь, и я отчётливо видел тропинки, рассекающие белый прямоугольник. Было ещё шампанское, и были гости, вернувшие мне телефон, с которым я мысленно попрошался. Мы выпивали, ели и смеялись, хотя мне вовсе не хотелось смеяться.

После было несколько тоскливых рабочих дней, вслед за которыми пришёл короткий двухнедельный отпуск, столь ожидаемый и столь разочаровавший своей удручающей пустотой. Не знаю, чего я хотел от этой свободы, но уж точно не отвратительного, доводящего до отупления, мерцания телеэкрана и не глухих вечеринок, после которых в зловещей тени одиночества становилось особенно холодно и неуютно.

После одной из таких вечеринок, затянувшейся до глубокой ночи, случилась неприятная вещь.

Последний гость, пошатываясь, ушёл к ожидающему у подъезда такси приблизительно в четыре часа. Я разделся и, потушив свет, лёг под одеяло. Было очень тихо. Только настенные часы загадочно тикали в темноте. Сначала мне нравился этот стук, а потом он начал сводить меня с ума. Я лежал и слушал сухой, равнодушный стук, и мне стало казаться, что это не секунды, а годы сыпятся на пол, превращаясь в безликую архивную пыль. Я почти физически ощутил, как жизнь уходит из тела, словно тепло из заброшенного дома с выбитыми оконными стеклами.

Я встал с кровати, включил свет и, сняв часы с маленького шурупа, вытащил из них батарейку. Забрался назад в постель и понял, что продолжаю слышать неумолимое насмешливое постукивание. Сердце стучало в грудной клетке, и эти удары были куда чаще, чем чётко выверенный ход часового механизма. Конечно, я знал, что жизнь тоже висит на маленьком шурупе и ничего не стоит вытащить батарейку из неё, но утешения это знание не принесло.

В холодильнике ещё оставалась пара бутылки пива. Я открыл первую, сделал несколько шумных глотков и, сунув в рот сигарету, сел у окна. Поглядел на всегда одинаковую, безлюдную площадь. На самой дальней скамейке неподвижно сидела женщина в короткой белой шубке и белой вязаной шапочке. И вновь, как и второго января, я почувствовал её взгляд. И ещё... Безусловно, это дико и необъяснимо, но я почувствовал, что у неё зелёные глаза. В те минуты, пока дымилась сигарета, я ни о чём не думал, не строил предположений. Я просто сидел и наслаждался своим страхом, являвшимся ко мне в виде тонкой белой фигуры. Мысли пришли после, когда я проснулся с ноющей болью в позвоночнике. Я сидел на табурете, уронив голову на руки, сложенные на подоконнике. Лужица пива растекалась по линолеуму из опрокинувшейся бутылки. Хмурым и сырой день злобно смотрел в моё окно. Незнакомые мне люди ходили по рассекающим площадь тропинкам.

Я открыл холодильник и быстро, не чувствуя вкуса, осушил последнюю бутылку, надеясь хоть как-то заполнить образовавшуюся внутри пустоту. Какая-то непонятная, мерзкая девятка стояла перед глазами, и я никак не мог понять, что ей от меня нужно. Были и ещё цифры, но девятка отчего-то казалась особенно огромной.

Наконец я осознал, что это календарь висит на стене, а я смотрю на него, и тот факт, что сегодня четверг девятого января, имеет особое значение. Потом девятка отошла куда-то на второй план. Четверг – вот в чём штука. Тогда тоже был четверг. И шесть утра показывали часы. И такая же пуста правила видимой частью города.

Что это: совпадение или роковой умысел, или новый вид сумасшествия, приступы которого столь пунктуальны и избирательны?

Всю следующую неделю эти вопросы отравляли мой маленький отпуск. Тоскливая бессонница, ранее лишь изредка посещавшая меня, неуклонно обретала хронические черты. Я вскакивал глубокой

страхом волнения припадал к оконному стеклу, впиваясь взглядом в белый прямоугольник площади и не видя ничего, кроме пустых скамеек и унылых безвольных фонарей.

В четверг я проснулся в два часа пополудни. Наполненные пивом бутылки выстроились на полках холодильника. Бутылки знали, что этой ночью мне не уснуть, и ждали меня, подобные бесстрастным стеклянным врачам. Ночь для той зимы выдалась на редкость морозной. Ледяные цветы выросли на стекле, закрывая привычную панораму. Я понимал, что сидеть на скамейке этой ночью очень рискованно, но всё равно, чем ниже опускалась жирная часовая стрелка, тем страшнее казалось белое застывшее окно. Сигаретный дым резал глаза, но я боялся, что, открыв форточку, увижу за ней гипсовое лицо, немигающим зелёным взглядом глядящее в мою душу.

Всё это действительно походило на сумасшествие, на очень странное сумасшествие. Оно не вползало в сознание, подобно бесшумной ядовитой змее, оно действовало нагло, не прячась и не считая нужным скрывать свои действия от объекта нападения.

Форточку я открыл ровно в шесть часов. Повернул, резко рванул на себя завёртку и отпрыгнул в ожидании чего-то неминуемого.

Но ничего, кроме квадрата холодной темноты, не обозначилось в образовавшемся проёме.

Несколько минут я стоял, прислонившись к холодильнику, и, кажется, что-то бормотал. А потом в лицо мне плеснула свежесть. Сделалось немного спокойнее.

Я встал на табурет и осторожно выглянул на улицу. Она сидела всё там же, такая же белая и неподвижная.

Она, должно быть, не знала, что ледяные цветы распустились на стеклах, и не замечала, что звёзды этой ночью яркие и колючие, как бывает в мороз. Тогда я почему-то не допускал вероятности, что скульптором, создавшим это изваяние, было больное сознание одинокого человека, извлекающего часовые батарейки, чтобы не слышать стука времени.

Хотя что взять с того человека, заполняющего пустоту горькой, навевающей мутную дремоту гадостью, если даже нынешний человек продолжает звать: безумие не приходит в шесть утра по четвергам и не уходит без двадцати семь. Безумие не бывает столь щедрым. Я скорее приму то, что именно в те жалкие сорок минут безумие отступало, и мои глаза видели нечто настоящее, живое, возможно, единственное настоящее и живое внутри непроходимого каменного прямоугольника.

Тем утром я вновь пропустил момент её исчезновения. Привычная ноющая боль разбудила меня у окна. Частый дробный стук доносился с улицы. Разбиваясь о карниз, падали с сосулек тяжёлые прозрачные капли.

Площадь лежала передо мной как на ладони: не было ни ледяных цветов, ни моего печального отражения. Всё те же люди ходили по неизменным тропинкам. Всё также опрокинутая бутылка лежала у моих ног.

Но что-то новое, чужеродное не давало покоя, и я не мог понять что, пока не провёл ладонью по лицу. Слезы катились по нему, неуправляемые тёплые слёзы. За окном стучала злобная январская оттепель, а я сидел на старом табурете и плакал, точно это солнце дотянулось и до меня, точно я был частью этой зимы и менялся вместе с нею, с той лишь разницей, что зима ещё имела силы остановить капель, а я менялся необратимо.

Через несколько дней незаметно подошёл к концу маленький отпуск, не добавивший в мою жизнь ничего, кроме усталости. Существование, загнанное в рамки часового циферблата, сделалось почти автоматическим. В принципе это существование ничем не отличалось от того, которое было за год или за два года до появления на площади белой женской фигуры. Я ходил по тем же улицам, и всё тот же супермаркет ждал меня в начале каждого рабочего дня. И кровать, в которую я ложился для того, чтобы уснуть, стояла у той же стены с осточертевшими, облезлыми обоями. Единственным зловещим изменением стала подавляющая разум апатия.

Я совершенно позабыл слово «будущее». Словно бы я ехал по шоссе, обставленном бесполезными, но симпатичными декорациями, и внезапно попал на серый пыльный пустырь, с асфальтовым колесом, на котором у меня заклинило рулевое колесо.

И самым страшным было то, что я этого не заметил и ехал, ехал и ехал по бесконечному кругу, удивляясь окружающей меня серой пустоте.

Лишь один указатель на том кольце пытался наметнуть мне на происходящее, пытался вернуть зрение, утраченное от долгого пребывания в темноте.

Я проезжал мимо того указателя каждый четверг.

Ровно в шесть утра, независимо от того, будний это был день, или выходной, я закуривал сигарету и, подойдя к окну, смотрел на мёртвую зимнюю площадь. И что-то похожее на мысли начинало копошиться в моей голове при виде женщины, сидящей в бледном электрическом свете. Я больше не засыпал на неудобном табурете и не испытывал страха. Я просто сидел и наблюдал, ожидая момента, когда она встанет со скамейки и, неторопливо удаляясь, скроется в арочном проёме девятиэтажки. Это происходило без двадцати семь. Сперва меня настораживала такая точность. Я не мог понять, как можно столь безошибочно чувствовать время. Но однажды, возвращаясь с работы, увидел электронные часы, висящие над вывеской большого продуктового магазина.

Я видел эти часы множество раз, но отчего-то не задумывался, насколько хорошо они должны быть видны с той скамейки. Я мрачно смотрел на подмигивание красного двоеточия, и скука язвительно улыбалась и подмигивала вместе с ним.

Времяшло повсюду. Оно подмигивало, постукивало, сыпалось невесомым песком. Я помню, как вошёл в тот магазин, и глупая мысль о том, что я вхожу в берлогу времени, не давала покоя. Я взял большую металлическую корзину и с каким-то непонятым тихим бешенством принялся составлять в неё холодные омерзительные бутылки. Был канун четверга, предпоследнего четверга той памятной тёплой зимы.

Выйдя из магазина, я остановился на крыльце и закурил. Невесомый, похожий на пух снег посыпался с неба. Я стоял и смотрел, как исчезают с площади тропинки. Точно бескровные раны медленно зарубцовывались на коже усталой земли. И какая-то губительная решимость зарождалась во мне. Не ощущая веса набитой бутылками сумки, я вбежал по грязным лестничным пролётам на четвёртый этаж. Не раздеваясь, снял лишь мокрые тяжёлые ботинки, прошёл на кухню и, сев на вечный табурет, принялся вливать в себя безвкусную холодную жидкость. Сигаретный туман растекался внутри крохотного бетонного куба. И я задыхался, но не туман был этому виной. Я задыхался от ненависти. Тогда мне казалось, а вернее, я был уверен, что ненависть вызвала призрачная фигура, являющаяся каждый четверг на зимнюю площадь. Фигура, непонятым образом рушащая устои, на которых покоилась одна примитивная жизнь. Я не знал, кто и с какой целью подстроил всё это, но не сомневался, что это всё для меня, что я стал объектом какого-то странного эксперимента, словно кто-то заставлял меня каждый четверг сидеть на табурете и смотреть на безмолвие, наполненное неким роковым смыслом.

Она смотрела в моё окно, и у неё были зелёные глаза, хотя я не мог видеть этого взгляда. Я просто знал. Я вообще много чего знал о ней. Я даже знал, почему она с такой жуткой мистической точностью является в мой примитивный мирок, состоящий из снега, бетона и бледного света фонарей. Когда-то давно она так же сидела на той скамейке. Стояла тёплая зима, был четверг. Часы показывали шесть утра. Те самые часы, подмигивающие хитрым двоеточием.

Она смотрела на эти часы и ждала. Кто-то должен был прийти, кто-то, в кого она верила. Кто-то, возносящий её над примитивным равнодушием бетона.

Она ждала, но он не пришёл. Я не знал, почему он не пришёл, да и откуда мне было знать, если даже она этого не знала. Но я, по крайней мере, понимал, что он не придёт. Она же этого не понимала. Возможно, она убеждала себя, что спутала числа.

Зима, четверг, шесть часов утра – вот всё, на что ей осталось надеяться. И однажды зажётся свет. Кто-то стоял и курил за далёким окном. И в жалкий список: зима, четверг, шесть утра добавилось слово «он».

Она решила, что я – это он.

До шести часов оставалось всё меньше времени. Опустевшие бутылки мерцали под раковиной, но я не чувствовал опьянения, лишь всё та же удрушная ненависть разбухала во мне с каждым новым глотком.

«Я – не он!», – хотелось крикнуть мне ей в лицо. – «Я никому ничего не обещал и мне никто не нужен!»

Помнится, я до того распалил себя, сидя в клубах табачного дыма, на фоне безлюдной площади, что меня начало трясти, и, открывая очередную бутылку, я расколотил её о подоконник, при этом глубоко порезав левую ладонь. Боли не было. Вообще ничего не было. Я просто сидел и тупо смотрел на торчащий из-под кожи стеклянный треугольник и тонкий ручеек, струящийся по запястью и падающий на пол частыми красными каплями. И ещё я вспомнил о батарееке, вынутой из настенных часов в ночь на девятое января, и у меня вдруг появилось искушение ничего не делать. Просто сидеть и смотреть, как часы, спрятанные во мне, замедляют ход. Пусть потом разрывается телефон, пусть старушечка, которой я задолжал за два месяца, продаёт мои вещи, пусть друзья поднимают запотевшие стопки в тишине. Пусть всё катится к чертям.

А потом я бросил на площадь прощальный, как мне казалось, взгляд. Снег валил тяжёлой, почти непроницаемой стеной, и я не увидел, а скорее, угадал знакомый силуэт на дальней скамейке.

Кажется, я ухмыльнулся и, выдернув из ладони осколок, бросил его в лужицу крови у себя под ногами. Падение капель участилось, но момент был упущен. Я обмотал руку полотенцем и, обувшись, вышел в подъезд. Меня слегка покачивало, должно быть, от кровопотери, но пружина, которую я сжал в себе до предела, не могла больше ждать. Я не знал, что буду делать, когда подойду к той скамейке, но это уже не имело значения.

Дорога оказалась трудной. Я шёл, и не снег, а болотная топь медленно, неохотно шла мне на встречу.

Но площадь была пуста, а лукавое двоеточие подмигивало как никогда насмешливо. Без четверти семь показывали часы, висящие над входом в магазин. Сырой ветер дул мне прямо в лицо. Красное пятно медленно увеличивалось на белом полотенце. Продираясь через снежную топь, я добрался до

Остановился я лишь тогда, когда увидел под ногами асфальт. Одинокое такси пролетело мимо меня – чьи-то удивленные глаза промелькнули в нём и исчезли. Здесь следы обрывались. И ни малейшего их признака не нашёл я на другой стороне.

Меня знобило, мысли обрывались, не успевая принять конкретные очертания. И вязкая смертоносная слабость медленно и нежно охватывала тело, вызывая желание лечь в снег и смотреть в лиловое небо.

Машины ездили по дороге всё чаще, и какие-то тени расчищали засыпанные снегом тропинки.

Кажется, кто-то что-то мне кричал, но я не обращал внимания на просыпающийся город. Я бродил по обочине, тщетно пытаюсь отыскать следы на той другой стороне. Но следов не было, словно женщина утонула в асфальте.

А потом случилось самое жуткое. В какой-то момент я вдруг понял, что обратного пути нет. Я не могу ещё раз перейти узкую чёрную ленту, потому что асфальт меня засосёт и я утону в нём точно так же, как утонула она.

Я стоял и смотрел на кажущийся таким близким противоположный берег, ощущая, как силы уходят по мере того, как растёт кровавое пятно на снегу.

Последним воспоминанием, оставшимся от того четверга, стало светлое рассветное небо, глядеть на которое было отчего-то очень удобно.

Из больницы меня выписали через несколько дней. Я лежал в ожоговом отделении. Добрые люди не дали батарейке разрядиться, однако они слегка опоздали, и после выписки на моей левой руке осталось только три пальца. Мизинец и безымянный я оставил врачам на память.

В остальном же всё хорошо. Я вернулся домой. Было много интересных встреч. Особенно запомнилась старушенция, которая плакала и причитала, глядя на мою птичью лапу. К счастью, она не заходила в квартиру в течение тех дней и не видела лужу крови на кухонном полу. Друзья, безуспешно пытавшиеся дозвониться до разрядившегося телефона, также навещали меня, и сомневаюсь, что у них остались приятные воспоминания от тех посещений. Я был очень хмур, на все вопросы отвечал сквозь зубы, а на главный вопрос о потерянных пальцах и вовсе не стал давать объяснения, заявив, что это никого не касается. И что самое обидное, я наотрез отказывался пить.

Друзья уходили, не зная, какое облегчение испытывал я, закрывая за ними дверь. Они повторяли попытки, приблизительно до конца марта, после чего мой телефон замолчал.

С работы меня как ни странно не уволили, впрочем, я не испытал ничего, узнав об этом.

Жизнь потекла неспешным мутным потоком. Ничего в сущности не поменялось.

Я остался наедине с самим собой. Ни друзей, ни родственников, лишь полусумасшедшая старушенция да сослуживцы, о существовании которых я забывал, как только заканчивался рабочий день.

Странно, конечно, но я не ощутил никаких изменений в своём существовании. Встреч с друзьями больше не было, и я не жалел об этой потере. Всё равно почти все встречи проходили под звон стаканов, и потом мало что вспоминалось. А стоит ли жалеть о том, чего не помнишь?

Единственным днём, когда я мог себе позволить выпить, стал четверг. Что-то не давало мне покоя в этот день. Что-то заставляло сидеть у окна на старом табурете и напряжённо смотреть на освободившуюся от снега площадь в ожидании шести часов утра.

Она больше не появлялась на той скамейке, рядом с ожившим ближе к лету фонтаном, и я, вспоминая то февральское утро, когда мне хотелось крикнуть ей в лицо, что она ошиблась, приняв меня за него, начинал сомневаться. Мне начинало казаться, что я упустил какой-то многообещающий шанс, возможно, единственный шанс поменять маршрут и вырваться с дорожного кольца.

Потом пришла новая зима – нынешняя зима. Как-то так получилось, что под Новый год я вновь очутился в давно забытой компании друзей. Давно забытое залихватское веселье захлестнуло и накрыло меня с головой. И когда я всплыл на поверхность, было уже третье января. Я лежал всё на той же нерасправленной кровати, а моя одежда, как и год назад, была несвежей и измятой. И, как и год назад, в памяти была пустота.

А вечером явилась окончательно спятившая старуха и попросила меня подыскать себе жильё где-нибудь в другом месте, где я смогу без ущерба для её авторитета водить к себе пьяную компанию, затевающую драки с соседями и бьющую подъездные стёкла.

Я не стал спорить и довольно скоро нашёл себе новое жильё. Дом находился неподалёку, но стоял во дворах, и из своего нового окна я мог видеть лишь старые клёны и занесённую снегом детскую площадку.

В последний четверг я проснулся в половине шестого и без всяких раздумий, словно давно уже все для себя решил, оделся и вышел в холодную утреннюю темноту.

Площадь встретила меня мёртвой тишиной, бледными фонарями и засыпанным снегом фонтаном. Я добрался до той скамейки и сел прямо в снег, покрывающий её толстым мягким слоем. Меня охватило непонятное тревожное волнение, когда я увидел свой бывший дом и электронные часы над магазином, показывающие шесть утра.

Дом был погружён во мрак, лишь одно маленькое окошко светилось в нём подобно маяку. А за этим окошком я почувствовал взгляд и лишь немного спустя разглядел тонкий женский силуэт.

Она смотрела на меня, а я на неё, и мне хотелось крикнуть на весь город, что она не ошиблась, что это я ошибался, испытывая ненависть к единственному человеку, разглядевшему меня среди мертвого бетона домов.

А потом свет погас. Я сидел и ждал, не чувствуя двадцатиградусного мороза. Я смотрел на красное двоеточие, считая секунды, оставшиеся до того мига, когда придёт время встать и уйти. И время пришло. Тяжело поднявшись, я развернулся, чувствуя страшную усталость. И медленно ступая по своим собственным следам, пошёл прочь с безлюдной неприветливой площади.

Когда я оглянулся, она стояла у фонтана. На ней была короткая шубка из какого-то белого меха и белая вязаная шапочка.

Никто ничего не говорил, никто ни о чём не думал. Она просто подошла ко мне и, взяв под руку, указала зелёным взглядом на узкую прямую полосу асфальта.

Мы вышли на этот асфальт и тихо, не оставляя следов, двинулись в направлении восхода.

И мрачные каменные дома расступались, открывая нам путь.

Ноябрь-декабрь 2006 г.